Межпоселенческая центральная библиотека Валуйского района
Сектор краеведения

Из фронтовой жизни

Из фонда редких книг

(брошюры, изданные в 1945 году)

Валуйки
2011

ББК К84(2Рос-4Бел)
И 32

Составитель **Е.В. Приснякова**,
заведующая сектором краеведения

Редактор **М.В. Котова**,
библиотекарь сектора краеведения

Ответственный за выпуск **Л.В. Чиж**,
директор МЦБ Валуйского района

И 32 **Из фронтовой жизни** : сборник / Межпоселенческая центральная библиотека Валуйского района, сектор краеведения ; сост. Е. Приснякова. – Валуйки, 2011. – 80 с.

ББК К84(2Рос-4Бел)

© Межпоселенческая центральная
библиотека Валуйского района, 2011

Введение

Прошло уже много лет, как отгремели залпы Великой Отечественной войны, а она продолжает жить в памяти народной, в сердцах миллионов людей, в искусстве и литературе, поэтому вполне оправдано, что годы войны выделяются в самостоятельный исторический период.

Все изданные в военный период книги выполняли практическую функцию: книга воспитывала чувство патриотизма и любовь к стране, являлась сильным оружием в борьбе против нашествия иноземцев.

Казалось бы, в суровое военное время не до культуры книги. Многие лучшие специалисты - на фронте, плохая бумага, условия работы - на пределе человеческих возможностей. Однако и в эти годы издавалась литература.

Например, брошюры серии «Из фронтовой жизни», выпущенные в 1945 году, издательством «Правда», на газетной бумаге, выполняли основную задачу советской литературы в период войны, которая заключалась в том, чтобы отобразить жизнь воюющего народа, передать величие его подвига.

Литература и искусство неизменно выступают как хранители памяти поколений. С особой силой это проявляется в произведениях, которые отражают героические страницы жизни нации.

Ш65

ИЗ ФРОНТОВОЙ ЖИЗНИ

В. ШИШКОВ

Гордая фамилия

Издательство «Правда»
1945

В. Шишков

ГОРДАЯ ФАМИЛИЯ

1

Полевая баня была устроена в пещере, вырытой в нагорном берегу быстрой речки. Кругом хвойный лес, на прогалинках – большетравье, а в траве спелая земляника-ягода.

Жарко, солнечно. Возле входа в землянку сидят на длинной скамье пятеро голых бойцов, с наслаждением скребут ногтями разомлевшие на солнце бока и грудь, нетерпеливо ждут очереди в благословенную баньку, где как следует можно похвостаться веником и смыть накопившуюся за много боевых недель грязищу.

Рядом, на веселом костре. Греется в двух котлах вода, два голых моряка – татарин и украинец подают в порядке очереди воду ведрами в баню. Из бани долетает смех, говор, гоготанье, блаженные выкрики.

Сидевший на скамейке красноармеец Александр Суворов, сухой и широкоплечий, с загорелыми бронзовыми лицом и шеей, закорючив ногу, колупает мозоли и ведет разговор с товарищами.

- Фамилия наша гордая, - говорит он, - Мы – Суворовы. Я мальчонкой слышал от моего дедушки, ему за сто лет было. Как генералиссимус Суворов Александр Васильевич через нашу деревню проезжал. А мой дедушка слышал от своего прадедушки, так это до нашего времени и дошло. Прадедушка моего дедушки в то время парнишкой был, так лет семи-восьми. Играли они в городки, в рюхи. Вдруг катит на простой таратайке какой-то, вроде военного, проезжающий, рядом с ним солдат сидит, и на облучке солдат. Военный остановил лошадей, кричит: «Ребята!

А примете меня в городки поиграть? Кости поразмять хочу, засиделся».

Тут парнишка (это прадедушка дедушки-то моего) подошел к нему и говорит: «Да ты не умеешь, тебе и в городок-то не попасть».

А она «Молодец! Бойкой!» - да подхватил мальчишку и стал его шувыкать вверх – вниз, потом поставил на землю, спрашивает: «Как тебя звать?» - «Александром звать, Сашкой…» - «Ого, мой тезка, значит. А по изотчеству?» - «Васильич. А прозвище Суворов. Александр Васильевич Суворов я…»

Тогда военный избоченился, перевернулся на одной ноге и крикнул: «Помилуй бог! Врешь ты, молодец… Помилуй бог! Это я Суворов-то, а не ты!»

Тут все мальчишки загалдели: «Он не врет, он верно – Сашка Суворов. Его вчерась батька драл…»

Военный захохотал и молвил: «Ну, стало быть, Суворов на Суворова наехал. Айда, ребята, в городки!»

Поставили городок, он выбрал из кучи палку самую толстую, поп любил этой палкой играть, да как ахнет!

Рюхи, будто галки, в разные стороны полетели, аж завыли, вот как он саданул, несмотря что небольшого роста да сухонький. Тут подошел к нему старый солдат с тюрочком и говорит: «Ваше превосходство, не отведаете ли курочки?»

Ребята и рты разинули. А Сашка и говорит: «Нет, ты не генерал. Эвот наш природный барин «ваше превосходительство» зовется, генерал он, - так у него лента со звездой, а медалей да крестов полна грудь, курице некуда клюнуть». – «А кто же я?..» - «А ты, видать, шибко добрый да хороший… Нешто генералы играют с ребятами?»

Суворов опять захохотал и молвил: «Когда играют, а когда и турку бьют. Бей, не робей!» - да как ахнет! С трех палок выщелкнул с городка все рюхи и сказал: «С

праздничком, ребята. А ну, кто скорей до кибитки добежать? А ну, стройся! А ну, ровняйсь! Бего-о-м… Марш!»

Да как почесал, да как почесал в припрыжку. А до кибитки сажен с двести. Он всех опередил, вскочил в кибитку, тут и ребятишки подбежали. Он крикнул: «Наша взяла! И рыло в крови. Прощай, Александр Суворов! Прощайте, пузаны! Ямщик, а ну припусти лошадок!»

Из бани то и дело вместе с клубами пара вырывалась шипенье – это парильщики поддавали на раскаленную каменку водой. Ожидающие нетерпеливо зашумели:

- Эй, в бане! Скоро, нет? В дзоты, чего ли, закопались? Аль запарились?

- Они там что – мины заграждения ставят, то ли в дрейф легли?.. Эй, братва! – закричал моряк с густой татуировкой на волосатой груди и захохотал.

Двое краснокожих – долговязый и коротконогий крепыш – вырвались из темного жерла бани, как из миномета мины, и, дымясь распаренными, пахнущими березовым веником телами, счастливые и легкие, давая друг другу на бегу шлепки, с гоготом пронеслись в прискочку к речке и с разбегу ухнули в освежающую воду.

- Вот каков был генералиссимус Суворов, - проговорил рассказчик. – И я его крепко полюбил. Как выучился в деревенской школе, в семилетке, стал книжки про Суворова покупать. Как поеду в город, так что-нибудь и отхвачу: то книжку, то портрет. Есть у меня про него и большие книжки, так что я всю жизнь его знаю до тонкости, все походы его напамять рассказать могу. Знатный, ох, занятый старик был, и большой руки чудак. Ну, а что вояка-то он замечательный, я о том уже не говорю, вы и сами знаете. Он всех бил и ни одного поражения не претерпел. Он никого не страшился, с

самим Павлом Первым в ссоре был. А пришла пора-времечко, царь-то первый ему поклонился: «Ну, дедушка, выручай».

2

Красноармеец Суворов, попав на войну, первое время чувствовал себя неважно. В боевой обстановке на него накатывало какое-то томление, робость, страх. «Неужели я такой трусище?» - задал он себе вопрос, смущенно вспоминая своего любимого генералиссимуса. Еще с товарищами ничего, хороший товарищ во всякой беде выручить может, от хорошего товарища сила на тебя идет, спокойствие, уверенность… А вот в разведке, когда в поле один, иным тяжеленько становилось. Но в такие неприятные минуты он всегда мысленно обращался с трогательным душевным движением к памяти великого полководца: «Дедушка, помоги мне». И после этого, как ни странно, его силы сразу возрастали, будто он глоток живой воды хлебнул, появлялась уверенность, что он останется цел и невредим, будет победителем. Он никогда не считал себя готовым на какой-либо подвиг, напротив, он, горячий поклонник великого Суворова, с горечью думал, что ему не выдержать испытаний здесь в огне и крови.

И вот после трех тяжелых боев он стал тверд, как камень, и бесстрашен. Юношеское, почти мальчишеское лицо его получило черты мужества, взгляд зеленоватых ласковых глаз стал пристальным, внимательным и волевым. Безусый рот с пухлыми губами сжимался во время боя в упрямую линию. Он весь, незаметно для себя, в какие-нибудь полгода возмужал и стал походить на закаленного в сражениях солдата, на суворовского чудо-богатыря. И сам немало дивился происшедшей в нем перемене. Вначале он только и жил

воспоминаниями о доме, о родных, о Фросе, на которой обещал жениться. Затем эти воспоминания тускнели. Покрывались, как туманом, налетом боевых забот, а потом и совсем почти исчезали. Но разве он разлюбил мать с отцом, разве перестал скучать по Фросе? Нет, эти чувства, разумеется, гнездились в нем, но они отошли на второй план; надо всем властно возвышалась задача сегодняшнего дня. А задача эта – и сегодня и завтра, и вплоть до самого конца: уничтожить, разгромить неприятеля, прогнать его с родной земли и начать новую мирную жизнь.

3

И вот идут они в бой, двенадцать автоматчиков, двенадцать братьев – витязей непобедимой русской армии. Красноармеец Суворов видел минувшей ночью странный сон: будто его мать подошла к нему, заглянула в глаза, проговорила: «Саша, помни…» и исчезла. А что «помни», не сказала.

Он шел вперед в душевном смятении, и тут снова мысли сами собою начали льнуть к родным местам, к отцу, к матери, его сердце загрустило.

Преодолев два проволочных заграждения, автоматчики оказались у вражеских окопов. Немцы открыли губительный огонь.

- Вперед, братцы, за мной! – крикнул лейтенант Лапшин и побежал, увлекая за собой красноармейцев.

Воздух гремел и выл. Силы были неравны, ряды красных бойцов редели. Сраженный осколком мины, упал лейтенант. Еще минута – рядом с ним упал раненый Суворов. Над ними где-то, казалось, очень далеко слышалось русское «ура», тише, тише… Сознание вернулось к Суворову. Один, вокруг никого! Вражеские минометы молчали.

С трудом он стал приподыматься, от режущей боли лицо его исказилось, но рука крепко держала автомат. И вот – видит: подбираются к нему четверо немцев: «Ага, в плен? – мелькнуло в его мыслях, – врешь, дешево не продам свою жизнь». И он дал меткую очередь из автомата. Трое упали, четвертый, схватившись за бок, с воплем побежал назад, к окопу. На помощь из окопа, один за другим, выскакивали немецкие солдаты, на бегу стреляли.

Суворов чувствовал, как по левой щеке его бежит теплый ручеек, кровь капает на кисть руки, но глаза видят, мозг работает, значит череп в целости. До немцев метров сто. Немцы с гвалтом бегут к нему. Крики, треск выстрелов – в него и от него. Немцы валятся, валятся, и только последний набежал вплотную, замахнулся, чтобы пронзить его штыком, но винтовка из рук врага упала и сам враг упал. Суворов едва превозмогал себя, грудь его раздиралась от шумного дыхания, глаза широко открыты. Перед ним и дальше, до самого окопа, куча вражьих трупов. Он вытер окровавленную, с подсохшей кровью, кисть руки и почувствовал мучительную боль в обеих ногах и в правом предплечьи. Ему хотелось застонать, он повалился лицом в землю, принялся скрести землю ногтями, стиснул зубы, боль начала затихать, но дыхание становилось коротким: душно! Нет, лучше на спину, лицом в небо. Он перевернулся грудью вверх.

Капля за каплей вместе с кровью выходит из него жизнь. «Братцы, - стонет он еле слышным голосом, - я живой». Но все вокруг молчит, лишь строчат пулеметы, и небо сереет, - должно быть, сумерки. И странное чувство: вдруг все в нем загудит, загудит и смолкнет, загудит и смолкнет. Клонит ко сну… Нет, он спать не будет, он станет глядеть в небо и – быть начеку.

Боль… Опять боль. Господи, что же это? То ли мошкара, то ли тараканы по лицу ползают, тысячи тараканов… И зайчик пробежал, лягнул ногой и дальше. Тысячи зайцев с рожками… Он глубоко, взахлеб, вздохнул, подумал: «Смерть» и закрыл глаза. Нет, он еще жив. И где-то голос: «Саша…» Ах, это снова матушка! «Ладно, не надо, дайте, мамонька, капельку покоя, не мешайте».

И еще голос услыхал: «Суворов, крепись!» и голос тот был какой-то особый, он доходил до самого нутра, сердце бойца застонало, затем на сердце стало легко и тепло. «ты ранен, русский воин?» - и чья-то ласковая рука погладила его по голове, сразу сделалось легко дышать, страдания кончились.

Сухонькое лицо, такое родное, такое милое, склонилось над ним, а большие глаза заглянули ему прямо в душу. Высокий лоб, в морщинках, над лбом пушистый клок белых волос, как снежный вьюнок в метель.

И снова прозвучал тихий отеческий голос: «Помилуй бог!.. Крепись, чудо-богатырь. Крепись!» - «Креплюсь, товарищ генералиссимус», - ответил боец знаменитому Александру Васильевичу Суворову. И от неповторимой, высокой радости, что вот к нему, к простому, изнемогающему на поле боя красноармейцу, явился сам Суворов, боец всхлипнул.

И сквозь слезы видит: генералиссимус вскочил, замахал зажатой в руке светлой сабелькой: «Сюда, чудо-богатыри, сюда! Живой!»

Красноармеец, словно понятый ветром, тоже вскочил, тоже закричал: «Жив я! Живой братцы!»

Но вдруг он ощутил, как высокое небо поползло вправо, вправо, а земля рывком и очень быстро двинулась влево, влево. Боец упал.

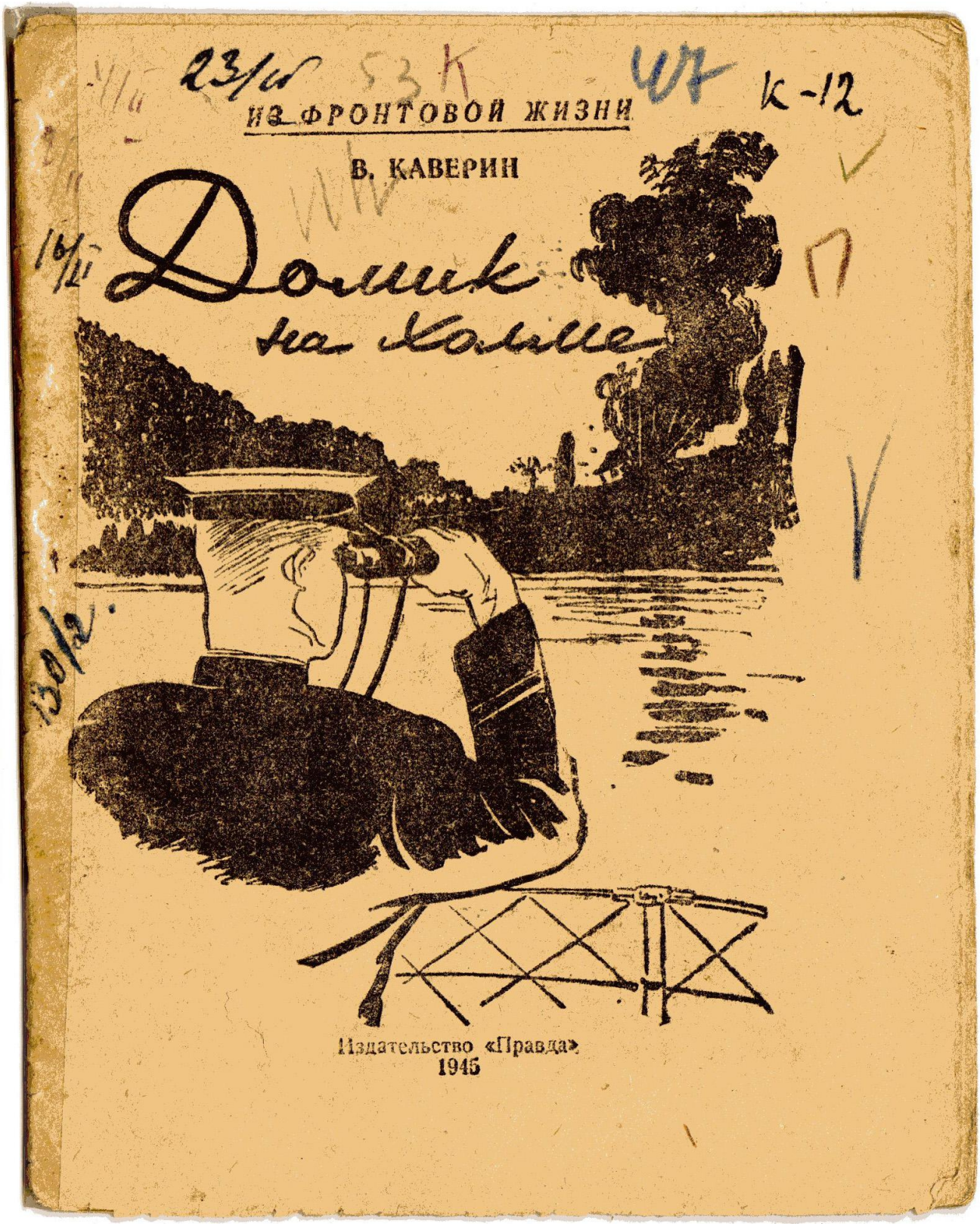
Очнулся в госпитале и не сразу поверил тому, что жив. Изумленными глазами он водил от лица к лицу: врач, две сестры, много раненых – и не находил того, кого искал.

- А где же?.. – Он запнулся, он не мог вспомнить, кого ищет его взор.

И где-то в глубине сознания слабым отблеском внезапно прозвучали слова матери: «Саша, помни…» Тогда обострившимся внутренним зрением он ясно увидел угол своей избы, полку с книгами, над ней портрет вихрастого старца с ухмыльчиво поджатыми губами. И – все разом вспомнил!

После переливания крови, когда стал помаленьку, но прочно выбираться из смерти в жизнь, он собрался рассказать товарищам о своем видении.

- Великий Суворов посетил меня. Сам генералиссимус, - начал он, но вдруг весь обмяк и приостановился, его охватило чувство радостного умиления, у него затрепетали мускулы на лице, вздрогнул подбородок. Смущенный, он едва справился с собой, приподнялся на локте в постели, проговорил: - если б у меня не семь, а семьдесят семь ранений было, я все равно, как только окрепну, в тот же день на фронт. Дедушка-то Суворов какой наказ нам оставил: Слышали? «Разите врага, детушки, спасайте матушку Россию!»


ИЗ ФРОНТОВОЙ ЖИЗНИ
В. КАВЕРИН
Домик на холме
Издательство «Правда»
1945

В. Каверин

ДОМИК НА ХОЛМЕ

Лет двадцати четырех, а на вид двадцати, с розовым свежим лицом, немного толстый и, должно быть, поэтому особенно живой и подвижной, он был так полон жизни, что вы начинали чувствовать это с первой минуты знакомства. Можно сказать, что он был совершенно счастлив. Но была еще и одна, особенная причина его полного счастья: не прошло и полугода, как он женился. Он много рассказывал о своей жене и при этом безбожно хвалил ее, что было, конечно, вполне простительно. По его словам, она была умная, красивая и вообще замечательная во всех отношениях. И он показывал ее карточку и краснел, как мальчик.

Теперь он стоял рядом со мной на баке и называл места, мимо которых мы проходили. Он родился и вырос в этих местах и недавно перед самой войной, ездил к своим старикам в К., что сравнительно недалеко от границы. Целый месяц он с молодой женой провел в К., и, должно быть, хорош же был этот месяц, в колхозных садах, весной, на берегу моря!

Даже о жаре, когда и цикады перестали звенеть, Апостоли рассказывал с восторгом. А ночные купанья в такой тишине, что сам невольно начинаешь говорить шопотом… Потом он уехал, а жена осталась гостить у стариков. Забавно было бы на обратном пути нагрянуть к ней в гости. Впрочем, завтра, седьмого, она уезжает в Сухуми. И старики уезжают – все-таки К. в сороках километрах от границы.

Начало темнеть, и полная луна поднялась и неторопливо устроила весь мир по-своему: на море, вдоль тени, лежащей по горизонту, она поместила великолепную золотую полосу, небо сделала темнее и

глубже, а берег – таинственнее. Это был еще наш берег. Чайки, стремительно падавшие вниз и срывавшие с волн клочья пены, - это были еще наши чайки.

В полной тишине, нарушаемой лишь равномерным шумом турбины, вдруг заговорило радио, то-есть заговорил, судя по голосу, наш политрук Толубеев: капитан 3-го ранга приказывал командному составу корабля немедленно явиться в его каюту.

Апостоли ушел. Через четверть часа он вернулся и сказал, что в кают-компании в 0 часов 30 минут назначено партийное собрание. Мне показалось, что он чем-то взволнован. Я не курю – он это прекрасно знал, и вдруг попросил у меня папиросу. Я сказал, что он написал чудную статью для «боевого листка», и он рассеянно выслушал меня и спросил: «Какую статью?»

После собрания мы разошлись, чтобы разъяснить краснофлотцам задачу похода. Она была ясна: согласно приказу командования, мы рано утром шестого августа должны были подойти к эстонскому берегу и принять участие в операции сухопутных частей.

…Холмистый берег открылся перед нами, красиво расчерченный правильными линиями виноградников, табака и лаванды.

Кое-где в редких купах деревьев были разбросаны домики, и только один из них стоял отдельно от других на высоком холме, полускрытый от нас другим холмом, напоминавшим медведя. Это был белый домик с красной черепичной крышей. Я заметил, что Апостоли долго смотрел на него в бинокль, а когда опустил бинокль, у него было усталое и расстроенное лицо. Кажется, он хотел что-то сказать мне, но промолчал. Потом он стал смотреть налево – туда, где за каменным забором, тянувшимся вдоль верхней дороги, залегли румыны.

Берег лежал перед нами, как открытая книга, и мы видели с моря все – в том числе и то, чего не могли видеть ни румыны, ни немцы. Мы видели, как под прикрытием жестокого пулеметного огня наши саперы поспешно чинили мост, должно быть, взорванный при отступлении, и как в глубине ущелья, над которым еще стояла нежная утренняя дымка, маленькая фигурки бегали, ложась и прячась за камни.

Это тоже были наши, обходившие румынские позиции слева, и румыны, без сомнения, не видели их, потому что били совсем в другую сторону – туда, где стягивались, готовясь переходить через восстановленный мост, наши части. Без сомнения, это и был главный план: подняться по крутому тупику ущелья и неожиданно ударить на румын с левого фланга…

Ровно в шесть мы начали обстрел. С полчаса мы ходили вдоль берега, рассчитывая, что румыны первые откроют огонь и тем обнаружат свои батареи. Но они молчали. Тогда заговорили мы. Апостоли скомандовал:

- Пеленг 130. прицел 82.

И первый залп наших пушек ударил по врагам.

Наши в ущелье упрямо шли вперед – даже отсюда, за милю, видно было, как это трудно! Таща на руках пулеметы почти по отвесной стене, они поднимались все выше – туда, откуда падал маленький белый водопад, превращаясь внизу в блестящую на солнце горную речку. Это было здорово, что румыны не видели их! Впрочем, они не могли ожидать, что наши полезут на эту стену, да еще потащат с собой пулеметы.

И вдруг что-то произошло. Заработали румынские минометы, и первые же мины стали рваться в ущелье. Недолет, перелет, опять недолет! Наконец, мины ударили прямо в тупик и, должно быть, наделали немало беды, потому что большие осколки камней высоко полетели в воздух.

Я слышал, как кто-то на мостике сказал с досадой:

- Заметили!

И это слово мигом обошло весь корабль.

Да, заметили. Откуда-то корректировали стрельбу.

Откуда?

Конечно, с крыши домика, который стоял так удобно для румын и так неудобно для наших! Только с крыши домика можно было видеть, что делается в ущелье – и то не на дне, а приблизительно с трех четвертей подъема.

Наш командир подозвал Апостоли, и мы все внизу, у орудий, сразу поняли, что он сказал ему, показав на домик.

Апостоли повернулся. Твердо ступая, он подошел к нам и отдал команду:

- По дому на холме. Фугасными. Орудия зарядить.

Секунда, вторая и третья.

- Залп!

Первые снаряды легли немного правее, но Апостоли исправил прицел, и со второго залпа мы попали прямо в красную черепичную крышу. Все было кончено, но для верности Апостоли скомандовал еще один залп, и столб черного пламени поднялся над домом…

Я посмотрел на Апостоли: у него было бледное, нахмуренное лицо – лицо человека, который лишь мучительными усилиями воли заставляет себя двигаться, говорить и думать. Прежний румяный мальчик исчез – перед нами был человек, перенесший все – самые смертные муки, самые горькие сомнения. Как будто десять лет прошло за немногие минуты боя – десять, полных труда, забот и страданий…

Это был дом, в котором он родился и вырос, в котором еще так недавно он был свободен и счастлив. Он не знал, успели ли покинуть этот дом его близкие –

самые близкие люди на свете. Но высокое чувство владело им в эти минуты, чувство, которое поднимает душу и делает человека способным на подвиг. Это чувство – сознание воинского долга – решило в нем мгновенную трагическую борьбу и сделало его героем.

К полудню румыны были выбиты. И наши заняли верхнюю дорогу. Разумеется, от белого домика с черепичной крышей ничего не осталось. Но обитатели его оказались живы. С началом боя они, тайком от румын, выбрались через окно и спустились вниз к морю.

На другой день мы принимали стариков Апостоли на корабле. Это были прекрасные старики: папа, похожий на матроса времен севастопольской обороны, с густыми седыми усами и подусниками, и полная добродушная мама.

Жена тоже была симпатичная. Кстати, она успела за время своего плена узнать много интересного – и вечером мы слушали ее доклад о румынской армии в моральном отношении.

Морская пехота

Это было превосходное место – мельница на маленькой речке, в пяти-шести километрах отсюда впадавшей в Балтийское море. Она была видна с чердака – в просвете между рядами красных в этот час от заходящего солнца сосен.

Такая тишина была вокруг, такая величественная картина открывалась в этом широком, свободном просвете, что трудно, почти невозможно было представить себе, что здесь идет беспощадная, непримиримая война. И что четверо юношей в краснофлотской форме – это форпост одной из частей морской пехоты. И что этот форпост, неслышный и невидный, на дереве сливающийся с листвой,

прячущийся в оврагах и ямах, без сна и отдыха, с бесконечным терпением наблюдает за всем, что делается на земле и на небе.

В просторном помещении мельницы было полутемно и прохладно. Еще лежали в углу мешки с мукой. Повсюду, во всех углах и щелях, была тонкая мучная пыль, так что все четверо скоро были выбелены наславу. Они осмотрели мельницу и заняли свои посты. Саша Пегов остался на чердаке. Маленький, неуклюжий Зайцев занял пост над речкой справа, аккуратный Веретьев скрылся в лесу, связист Курочкин возился внизу плотины, маскируясь и налаживая связь.

И вот начались долгие часы ожидания. Медленно приближалась ночь, тени становились длиннее. Уже над морем появилась чуть прозрачная белая муть и берега потеряли прежние строгие очертания. Дорога, за которой наблюдал Саша Пегов из окна чердака, потемнела и с прежней отчетливостью была еще видна только на поворотах. Но все-таки она была видна, хотя уже первый час был на исходе. Значит, она будет видна всю ночь, значит, здесь ночи лишь немного темнее, чем в Ленинграде.

В Ленинграде он окончил школу и пошел на фронт. В Ленинграде остались его старики. Ему было только двадцать лет, и нет ничего удивительного в том, что он не особенно задумывался над тем – любит ли он свой город. Конечно, он любил его, потому что это был его родной город, в котором он родился и вырос. Но он не знал, как он любил его!

Накануне отъезда его на несколько часов отпустили домой. Он простился со стариками, а потом на набережной встретился со знакомой девушкой, и они прошлись вдоль Летнего сада. Над зданием Военно-Медицинской академии небо было темносинее,

светлосинее, желтое, оранжевое, всех цветов, какие только есть на свете.

Где-то там было солнце. А над Петропавловской крепостью все было совершенно другим – неподвижным и туманно-серым, - настолько другим, что нельзя было поверить, что это одно и то же небо. И они сперва долго смотрели на крепость и ее небо, а потом поворачивались к Военно-Медицинской академии и ее небу, и это был как бы мгновенный переезд из одной страны в другую – из неподвижной и серой в прекрасную, живую, с быстро меняющимися цветами.

- Вот, Саша, что ты будешь защищать, - сказала девушка. – Понятно?

Он засмеялся и сказал:

- Понятно.

И сейчас, в этот ночной час, это было, как никогда. Где-то, далеко на восток, на восток, на берегу моря лежал огромный, близкий сердцу, великолепный город. Он спит сейчас, выставив сторожевые посты у каждых ворот и на каждой крыше. Аэростаты воздушного заграждения висят под ним, похожие на больших серебряных рыб с толстыми ушами. На Петроградской спит мать или не спит, а думает о нем: «где мой Саша?»

Ему показалось, что легкое облачко пыли поднялось над взгорьем – там, где дорога круто шла вверх и вдруг обрывалась. Но облачко растаяло. Тишина, тишина!

И вдруг в этой тишине, нарушаемой лишь сонным всплеском рыбы, раздался очень далекий металлический звук. Еще ничего не было видно, только снова появилось над взгорьем облачко пыли, а этот металлический скрежещущий звук все приближался.

Зайцев скатился с берега и мигом перемахнул через плотину.

- Танки, - не переводя дыхания, сказал он.

- Да, вижу.

Это было очень неожиданно здесь, так близко от моря. Воздушный десант? Так или иначе, это были танки, должно быть, штук пять.

Можно было не спрашивать, знает ли уже об этом связист и сообщил ли он командиру части: связист сообщил. Через две минуты после того, как Пегов увидел на дороге облачко пыли, в журнале донесений Энской части появилась запись: «Замечено пять немецких танков. Идут на нас».

То, ради чего четверо юношей в краснофлотской форме лежали всю ночь, наблюдая за всем, что делалось на земле и на небе, было выполнено. Теперь они могли уйти к своим, если хватит времени, или спрятаться, то-есть пропустить танки и начать действия в тылу. Они не сделали ни того, ни другого. Оружия было не так много: четыре винтовки, несколько связок гранат. Зато дорога с крутого подъема скатывалась вниз и с полкилометра шла вдоль берега речки, по гати. Потом начался мост, а за ним плотина – все узкие места, удобные для защиты.

Теперь они все вчетвером собрались на чердаке и молча стояли, слушая, как нарастает, приближаясь, равномерный грохот машин. Пегов посмотрел на товарищей. Веретьев, подтянутый и, как всегда, особенно тщательно одетый, спокойно ждал приказаний. Может быть, он был немного бледнее, чем обычно. Маленький Зайцев деловито устраивался у окна – у него был такой вид, как будто он всю жизнь только и делал, что с винтовкой в руках сражался против танков. Только связист немного растерялся, зачем-то притащил наверх аппарат, надел его на плечо, опять снял…

Грохот все приближался, и вот первые танки показались на взгорье. Они шли на хорошей скорости –

только-что были далеко, а вот уже ближе и ближе. Солнце все вставало, и в бледном утреннем свете они шли и шли – угрюмые, горбатые, похожие на бронтозавров, машины.

Кажется, не было на свете силы, которая могла бы остановить это грозное, решительное движение… Они шли, как победители, прошедшие полмира. За ними были разрушенные города, тысячи трупов, склоненные знамена. За ними была ограбленная и сожженная Европа. Перед ними в маленькой деревянной мельнице были четверо юношей в краснофлотской форме.

Пегов немного боялся, что связист рано бросит гранаты. Пегов давно присматривался к нему и решил, что он – нервный. Головной танк был теперь совсем близко, и если Курочкин подорвет его до въезда на мост, - ничего не выйдет, потому что здание обойдут и станут бить с тыла. Нужно было послать Зайцева, а Зайцева – нельзя, потому что прекрасно стреляет. Веретьева… Или итти самому… Секунда, другая, третья. Танк с разбегу влетел на мост. Взрыв! Связист бросил гранаты.

Очевидно, это было сделано неплохо, потому что танк остановился и круто пошел направо. Направо была река, он сломал перила и, как подбитое чудовище. Повис над водой. Стрелок открыл люк. Пегов немедленно бросил в люк гранату.

Теперь нужно было приниматься за второй танк, что было гораздо сложнее, потому что он остановился на самом въезде, как будто задумался – что теперь делать. Впрочем, особенно долго думать ему не пришлось. Вторая связка полетела в него из-за угла – Веретьев. Танк рванулся вперед потом назад. Люди выскочили из него, и маленький Зайцев. Не переводя дыхания. Пятью выстрелами убил их из винтовки.

Он сам был убит ровно через минуту. Снарядом снесло крышу мельницы, и осколок попал ему в грудь.

Вдруг наступила тишина. Пегов, отброшенный в сторону, поднялся и медленно встал на колени. На чердаке стояли весы, падая, он ударился о них и теперь, выбираясь из-под сломанных досок, чувствовал сильную боль в плече – наверное. Вывихнул. Но об этом некогда было думать.

Он взял у Зайцева винтовку, зарядил ее и спустился вниз. Веретьев стоял на ларе у маленького окна. Очевидно, то, что он видел, было очень интересно, потому что он смотрел, не отрываясь, и только молча показал Пегову, чтобы он встал подле него.

Прямо под окном был привод от жернова и станок, на котором делали дранку, а дальше штабеля напиленной и приготовленной для дранья осины. Между этими штабелями полз человек. В другом просвете мелькнул еще один. Третий, четвертый…

- Хотят окружить, - шопотом сказал Веретьев.

- Да. Где Курочкин?

- Не знаю.

От штабелей до станка было не больше пяти метров, то-есть расстояние, которое можно перемахнуть двумя шагами. Станут ли они перебегать по одному или бросаться в атаку? Конечно, да. Сейчас выйдут и бросятся в атаку.

Они не бросились в атаку. По одному они стали перебегать под станком. Веретьев хотел стрелять. Но Пегов остановил его: лучше было встретить их в дверях, а когда бросятся назад, - перебить между станком и штабелями.

Через две минуты они появились в дверях: сперва один робко просунул голову, оглянулся, и, обернувшись назад, что-то сказал по-немецки. За ним вошел и остановился на пороге другой. Веретьев выстрелил, и

первый упал. Второй бросился назад. Те, что сидели под станком. Побежали за ним, и Пегов убил их из винтовки.

…Он почти не волновался, только два или три раза спросил: «Где Курочкин?» - совсем забыв, что уже спрашивал об этом. Никогда прежде он не думал о смерти, не думал и сейчас, когда она была так близка и, кажется, неотразима. Он думал только о том, что танки все-таки удалось остановить и что наши, должно быть, уже выступили, и что самолеты будут здесь самое большее через десять минут.

- Эх, продержаться бы эти десять минут!

Старший удар, от которого потемнело в глазах, раздался над его головой, стена, подле которой стоял на ларе Веретьев, рассеялось. Он видел, как Веретьев прыгнул вниз и как упавшая балка сбила его с ног и прижала к полу. Пегов прождал с минуту – больше не стреляли – и пробрался к нему. Веретьев был убит наповал.

Теперь, кажется, все было кончено. Убиты Веретьев и Зайцев. Убит, должно быть, и Курочкин – иначе он бы вернулся, он мог проползти под плотиной.

Пегов был один в этом разрушенном маленьком доме.

Но ничего не было конечно! С чувством радостной злобы, бешенства, восторга, от которого кружилась голова, он лежал с винтовкой в руках и нетерпеливо ждал.

Ничего не кончено, у него еще были патроны.

- А ну, подойдите-ка, подойдите-ка… - говорил он про себя.

И, точно согласившись на его просьбу, высокий немец, наверное, офицер, хладнокровно вышел из танка и направился к мельнице – к тому, что от нее осталось.

- Сдавайтесь, руссен! – крикнул он.

Пегов выстрелил в него и офицер упал.

- Ну-ка, давайте, следующий. Ну-ка!

Он устроился удобнее, сделал для винтовки упор.

Второй удар – на этот раз вниз, в каменное основание мельницы, - обрушился на него и отбросил в сторону. Танки подошли с тыла и били по мельнице прямой наводкой.

Последние винтовочные выстрелы умолкли наконец, а они все били и били, чтобы снести, сломить, уничтожить этот маленький домик и вместе с ним загадочное упорство русских…

Должно быть, он был ранен, хотя и не чувствовал боли. Еще минуту-другую он как бы старался остановить ускользающее сознание. Но оно исчезло наконец, и на смену ему пришло забытье – полусон. Грохот отдалился, пропал, и он лежал теперь в тишине, с открытыми глазами. Что видели они в эту минуту? Быть может, детство, свободное и счастливое, согретое мечтою о море, прошло перед ним? Или город, близкий сердцу, великолепный город, с прекрасной рекой и строгими, милыми площадями.

Ему было бы легче, если бы он знал, что Курочкин жив…

Раненый в руку, Курочкин отполз от плотины и спрятался в камышах. Танки прошли через мост, и тогда стараясь не очень беспокоить раненую руку, Курочкин стал собирать у мельницы дранку. Костер долго не разгорался – бревна у въезда отсырели от утренней росы, но Курочкин упрямо раздувал костер, и вот, наконец, огонь осторожно прошелся по бревнам и запылал, запылал…

Через час к мельнице подошли наши части, получившие его донесение. Немецкие танки, отступая, остановились перед горящим мостом и были уничтожены. Это был салют четырем юношам в

краснофлотской форме. Один из них рассказал то, что вы прочитали.

«Кнопка»

Это была маленькая, толстая, румяная девушка, с короткими косичками, перевитыми лентами и торчавшими над открытыми, смешными ушами. У нее было много прозвищ: «Мячик», «Чижик». Один боец, когда она еще работала в госпитале, прозвал ее «Пучок энергии». Это было очень меткое прозвище, потому что она действительно была похожа на пучок, состоящий из топота быстрых ног, скороговорки, румянца и косичек. Это была сама энергия. Веселая, стремительная и действующая взрывами, как ракета.

Но из всех многочисленных прозвищ удержалось самое простое: «Кнопка». Возможно что оно намекало на ее маленький нос, напоминающий кнопку. Но она не обижалась. «Кнопка» так «Кнопка»! главное было, всюду поспеть и все сделать самой. И она поспевала всюду поспеть и все сделать самой. И она поспевала всюду.

В этот день, самый горячий за всю ее 19-летнюю жизнь. Она с утра успела поругаться с шофером, сменить повязки раненым бойцам, лежавшим в медсанбате, накормить их, съездить за письмами на почтовую станцию и сделать еще тысячу дел, перечислять которые было бы слишком долго.

Теперь нужно было везти раненых в тыл, и она принялась помогать шоферу, который. Ворча что-то себе под нос, вот уже целый час возился с проколотой шиной.

Раненых она уже знала по именам, а кого не знала, того называла «голубушка». «Ну, голубушка, теперь вот сюда, - говорила она командиру, который, делая над собой мучительное усилие, шел опираясь на ее плечо. К

санитарной машине. – Ну-ка, еще раз. Умница! Вот и все».

О том, что дорога простреливается, она сказала. Когда все уже были устроены и осталось только принести в машину снятое с бойцов оружие.

- Вот что, товарищи, - сказала она быстро, - мы поедем на полном газу, понятно? Дорога простреливается, понятно? Так что нужно принять во внимание свои головы, чтобы при подбрасывании не разбить. Понятно?

Все было понятно, и никто не удивился, когда машина, слегка подавшись назад, вдруг рванулась и с места во всю прыть помчалась по изрытой танками дороге.

- Держитесь! Раз! – говорила «Кнопка», когда ныряя в рытвину, машина тяжело кряхтела и начинала, как лошадь, лягать задними колесами. – Есть! Поехали дальше.

Все ближе слышались разрывы снарядов. Черные столбы земли, перемешанной с дымом, вдруг вставали среди дороги, и в одном из таких столбов скрылась и взлетела на воздух сперва телега с фуражом, потом мотоцикл, почему-то стоявший недалеко от шоссейной сторожки, а потом и сама сторожка, рассыпавшаяся дождем досок, стропил и камня.

- Придется обождать, - обернувшись, крикнул шофер. – Эге! Кнопка!

- Давай дальше, проскочим!

Но проскочить было невозможно. Шофер свернул и, проехав вдоль обочины по полю, поставил машину среди редкого кустарника, которым некогда была обнажена дорога.

Лучшего прикрытия не было. Но и это было не прикрытие. Во всяком случае оставлять раненых в машине, представлявшей собой превосходную цель,

«Кнопка» не решилась. Называя их всех без разбора Голубушками и умницами, она вытащила бойцов одного за другим и устроила в канаве, метров за 25 от машины.

Был последний жаркий августовский день. Утро прошло. Солнце стояло в зените. Земля, перегоревшая за жаркое лето, была суха, и над нею неподвижно стоял душный, колеблющийся воздух. Вокруг – ни тени. Разве что под машиной, но это была такая тень, что уже и шофер, заглушив мотор, присоединился к бойцам. Очень хотелось пить - и первый сказал об этом маленький лейтенант с перевязанной головой, который всю дорогу подбадривал других раненых, а теперь, беспомощно раскинувшись и тяжело дыша, лежал на дне канавы.

- Нет ли воды, сестрица? – спросил он. И, точно сговорившись, все раненые стали жаловаться на сильную жажду.

Воды не было. Метрах в ста от разбитой шоссейной сторожки виднелся колодезный сруб. Но была ли еще там вода – неизвестно. Если и была, как добраться до нее через поле, на котором ежеминутно рвутся снаряды.

- Где ведро? – спросила «Кнопка» у шофера.

Он посмотрел на нее и молча покачал головой.

- В машине осталось? Да что же ты молчишь? В машине?

- Ну, в машине, - нехотя пробормотал шофер.

- Ты за ними посмотришь, ладно?

И, прежде чем шофер успел опомниться, она выскочила из канавы и ползком стала пробираться к машине.

Это было еще полбеды – доползти до машины и разыскать полотняное ведро в ящике, полном всякой рухлядью, которую шофер зачем-то возил с собой. Она достала ведро и, сложив его, как блин, засунула за пояс. Главное было впереди – добраться до шоссейной

сторожки. А самое главное еще впереди – от сторожки, уже не прячь в канаву, дойти до колодца.

Впрочем, первое главное оказалось не таким уж трудным. Канава была глубокая, а «кнопка» - маленькая. Так что, если бы время от времени из непонятного ей самой любопытства она не поднимала голову, украшенную косичками, торчавшими в разные стороны над ушами, - эта часть пути казалась бы ей самой обыкновенной прогулкой. Правда, прогуливаясь, она прежде не ползала на животе и не подтягивалась на руках, которые при этом быстро уставали. Но тогда было одно, а теперь – другое.

Вот и сторожка, то-есть то, что от нее осталось. За нею начиналось второе главное – немецкие орудия облюбовали именно это место, на котором ежеминутно вставала и далеко разлеталась земля.

До сих пор «Кнопка» не задумывалась над тем, есть ли в колодце вода. Эта мысль только мелькнула и пропала, еще когда она разглядывала сруб издалека. Но теперь она снова подумала – а вдруг нет? В первый раз ей стало действительно страшно. Вокруг был такой ад, такой отвратительный вой свистящего и рвущегося воздуха стоял над ее головою, так трудно было дышать, так устали руки, так скрипел на зубах песок – и все это, быть может. Напрасно? Но она продолжала ползти.

Сруб стоял на огороде, а огород был отделен изгородью, хотя невысокий и полуразбитой, но которую все же нужно было обойти, чтобы добраться до сруба.

Легко сказать, обойти! Это значило, что, по крайней мере, метров тридцать нужно было ползти под огнем, причем пятнадцать обратных – по совершенно открытому месту.

Руки очень ныли, спину ломило, и «Кнопка», прижавшись лицом к земле и старалась поровнее дышать. Решила, что не поползет. Ведро было на

длинной веревке, она перебросит его через изгородь – авось, угодит в колодец.

Четыре раза она перебрасывала ведро, прежде чем оно попало в колодец. Наконец – удалось. Но оно упало бесшумно, и «Кнопка» поняла, что колодец пуст.

С минуту она лежала неподвижно. Не то, чтобы ей захотелось заплакать, но в горле защипало, и она должна была несколько раз вздохнуть, чтобы справиться с сердцем.

- Так нет же, есть там вода! – вдруг сказала она про себя. – Не может быть! Есть, да глубоко.

Она сняла пояс и привязала его к веревке. Ведро чуть слышно шлепнуло – или ей это показалось? Приблизившись к изгороди вплотную и приподнявшись на локте, она ждала несколько секунд. Веревка все натягивалась, она слегка подергала ее и поняла, что ведро наполнилось водой.

- Ну-ка, голубушка, - сказала она не то ему, не то самой себе и стала осторожно вытягивать ведро из колодца. Она вытащила его – мокрое, расправившееся, полное воды, и, вскочив, быстро перехватила рукою.

Прежде всего нужно было напиться. Воды было много, хватит на всех ,может быть умыться? Но умываться она ре решилась. Сейчас-то много, но много ли она донесет…

И тут она впервые задумалась над тем, как вернуться обратно с ведром, полным воды, - ведь теперь его не засунешь за пояс. Эх, была не была! И, подхватив его, со всех ног она побежала к сторожке. Снаряд разорвался где-то близко, земля осыпала ее с головы до ног. Она только присела на мгновенье, отряхнулась и побежала дальше.

Запыхавшись, приложив руку к сердцу, она остановилась у сторожки и заботливо заглянула в ведро: не очень ли много расплескалось? Не очень. И

вообще – гораздо лучше бежать, чем ползти, - совсем не страшно и гораздо ближе.

Теперь все было в порядке – от сторожки до машины рукой подать, и можно пройти по канаве.

- Подожду, как станет потише, - сказала она себе, - и айда.

И вдруг она услышала чей-то голос. Сперва она подумала, что ослышалась, потому что этот слабый голос назвал ее так, как называл ее только один человек во всем мире.

- А, Пучок энергии! Здорово!

- Что? – невольно откликнулась она и в туже минуту увидела руку, торчащую из-под разваленных досок.

Это был тот самый знакомый боец, который только один во всем госпитале не соглашался на «Кнопку». Последний раз она видела его в Ленинграде, когда он выписывался…

К 47 К93

ИЗ ФРОНТОВОЙ ЖИЗНИ

О. КУРГАНОВ

Мать

Издательство «Правда»
1945

О. Курганов

МАТЬ

Никто не может припомнить, звали ли Александру Мартыновну в партизанский отряд. За оврагом, у палатки, все увидели эту уже немолодую женщину в ватной тужурке, в больших сапогах и темной косынке. Как человек, привыкший с детских лет к непрестанному труду, она сразу спросила у командира отряда Семена Хлебутина, что делать. Он усмехнулся и ответил: «Будь хозяйкой нашей».

Александра Мартыновна засучила рукава тужурки, принесла из спадающего по камням ручья котел воды – и с той минуты вошла в привычный жизненный ритм: сушила в землянке над камельком сапоги партизанам, возвратившимся с разведки, помогала повару варить обед, чистила оружие, убирала в палатке. И днем и ночью трудилась Александра Мартыновна, и все в отряде стали для нее родными, близкими; она их в шутку называла «дети мои», хоть в лесу жили и пожилые люди. И ее они называли самым теплым словом – «мать».

Отряд уже действовал вторую неделю. Выпал снег; земля, затвердевшая и кочковатая, сравнялась, смолк птичий говор в лесу, но не стихали ни выстрелы, ни пулеметная дробь, отдаленная и сухая, как треск палки по частоколу. В отряд приносили немецкие автоматы, каски, шинели, патроны, - партизаны нападали на обозы, уничтожали фашистских карателей, бродивших по селам. Комиссар отряда Павел фомин готовил людей к крупным операциям.

Враг подтягивал танковые дивизии для нового наступления на Москву. Фомин решил взорвать мост на магистрали и задержать движение немецких колонн.

Нужен был опытный разведчик, знавший все тропы и дорожки в лесу: не по просекам, а по густым зарослям следовало вынести мины к мосту. Тогда в поход попросилась Александра Мартыновна. Она ведь знает уваровские леса, как свой дом, как село Поречье, где она выросла. В лесах этих не раз ходила она целыми днями, собирая грибы или ягоды для помещика, лозу для корзин. Здесь, вблизи Уварова, вместе со своей матерью Александра Мартыновна батрачила у помещика, потом, после революции, училась в сельской школе. В последнее время была председателем Ерышовского сельского совета. Как же ей не знать все тропинки и тайные дорожки в уваровских лесах?

Ночью на магистрали был взорван мост, когда на нем находились танки и автомобили с пехотой. К утру вернулись в лес партизаны. Усталые, шумливые, проголодавшиеся. Только Александра Мартыновна забилась в уголок в землянке, пролежала весь день под тулупом, вздрагивая от холода, бледная и задумчивая. Дважды к ней подходил комиссар отряда Павел Фомин. Но она куталась в тулуп и притворялась спящей. На рассвете она встала, согрела воду, убрала в палатке, надела ватную тужурку и простилась с партизанами.

- Не могу оставаться, - сказала она Фомину, - нет сил моих. А обузой быть не хочу. Горько мне, но ухожу…

Никто не знал истинных причин ее ухода. Лишь к вечеру повар поведал всем, что Александра Мартыновна ждет ребенка. Она все время ходила в тулупе, боясь, что, заметив, о ней станут заботиться. В разведке она три раза садилась отдыхать, а партизаны ее ждали. А разве время теперь с детьми в отряде возиться?

Повар умолк, и грохот взрывов напомнил о страшной битве, которая идет на полях, на дорогах, в лесах. Но не могла заслонить эта битва такой обычный,

но всегда многострадальный период в жизни женщины – рождение нового человека. Очередной разведке был дан приказ найти в городе Уварове Александру Мартыновну, окружить ее заботой, поберечь от врагов. Но найти ее уже не удалось, а неделю спустя в отряде узнали, что Александру Мартыновну, связанную, привезли в немецкую комендатуру, в большую каменную новую школу.

С той минуты отряд ничего не мог о ней узнать: она исчезла. Лишь на десятый день плотник Ефрем Цыганков, отец партизана, видел, как на рассвете два немецких солдата тащили по снегу чей-то окровавленный труп, и, когда бросали его под лед озера, Цыганков узнал Александру Мартыновну Дрейман.

Как попала она к немцам, через какие пытки прошла, что стало с ее новорожденным сыном? Никто об этом не знал в Уварове. И лишь теперь из рассказов местных жителей – Анны Минаевой, Анны Гусляковой, Евдокии Каленовой, Ефрема Цыганкова, - видевших, как вели и пытали Александру Мартыновну. Из бесед с теми, кто сидел вместе с ней в сарае в типографском дворе и избежал казни, и. наконец, из допроса переводчика немецкого коменданта города Уварова Ильинского, который пойман нашими войсками, - лишь теперь мы можем восстановить мученический предсмертный путь матери-партизанки.

Она пришла в город ночью, поселилась в домике, где был врач. Он посоветовал лежать, не выходить на улицу, Александра Мартыновна подсчитала запас консервов и колбасы, который ей дали в отряде. Три дня она лежала. А на четвертый день в домик постучали. Александра Мартыновна выглянула в окно: у крыльца полукругом стояли немецкие солдаты. Она накинула теплый платок и открыла двери. Ворвался маленький

толстый немец, ударил ее, она закачалась, но два солдата подхватили, связали руки и повели к каменному сарайчику на типографском дворе.

Там оказалось много знакомых. Они стояли, плотно прижавшись друг к другу: сидеть не разрешали, да и едва ли было это возможно в такой тесноте. Александра Мартыновна продвинулась к стенке; руки, завязанные за спиной, отекли, но она молчала. Ночью ее вызвали на допрос. Солдат привел ее к немецкому коменданту города Уварова капитану Хаазе. На допросе присутствовал переводчик Ильинский. Хаазе сказал:

- Сядьте!

Александра Мартыновна придвинулась к столу и спокойным голосом произнесла:

- Дайте мне родить… Мне осталось еще три дня…

Потом убивайте!

Хаазе посмотрел не нее, рассмеялся, приказал солдатам раздеть ее. Она попыталась сопротивляться, но кто-то тяжелым кованым сапогом ударил ее, она упала. Александру Мартыновну подняли, но сесть не разрешили, Хаазе сказал:

- Во имя вашего ребенка скажите нам, где находится партизанский отряд? Мы знаем, что вы оттуда.

Она помолчала мгновенье и ответила:

- Я ничего не знаю и ничего не скажу. Вам удалось меня словить, стало быть, мне суждено погибнуть. А про отряд я ничего не скажу, сколько ни пытайте.

Хаазе еще спросил: коммунистка ли она? Александра Мартыновна покачала головой, сказала:

- Я еще малосознательная…

Потом комендант предложил ей пройти по улицам города и указать дома, где живут ее знакомые. Она пойдет босая и нагая, только в платке, но чем больше она укажет домов, тем чаще она будет греться.

Два солдата вели ее по ночному городу, морозный ветер обжигал ее тело, она куталась в платок и шла молча. Ноги ее, босые и отекшие, ступали по утоптанному снегу. Под утро она вернулась к коменданту. Солдат доложил, что женщина не нашла ни одного знакомого дома. Ее погнали обратно в сарай. Вид ее заставил всех содрогнуться. Она посинела, при свете восходящего дня даже в этом полутемном сарае можно было различить ее постаревшее и осунувшееся лицо. Она попыталась лечь на пальто, кем-то отданное ей, но немецкий солдат вывел всех из сарая, оставив только Александру Мартыновну. Ей же лежать не разрешил: стоять, только стоять!

Три дня пробыла она в этом сарае, одна, полуголая, без воды и пищи. Только один раз к ней тайком пришла колхозница Евдокия Каленова с куском хлеба и супом. Она постучала в стенку сарая и услышала глухой стон. Каленова заплакала. Ее поймали, отобрали хлеб и суп, избили.

Александру Мартыновну после этого вновь привели к коменданту. Она уже не могла двигаться от истощения и болей, тело ее раздулось от холода. Хаазе опять спросил:

- Где партизанский отряд? Это вы взорвали мост?

Александра Мартыновна посмотрела на коменданта долгим взглядом, словно соображая, о чем у нее допытываются. Потом сказала:

- Да, я – во всем я виновная…

Больше она ничего не произнесла, впала в беспамятство. Анна Гуслякова, которая проходила мимо комендатуры, услышала чьи-то крики. Приблизившись к окну, она увидела, как двое солдат били шомполами лежавшую Александру Мартыновну. В ту же ночь начались родовые схватки. Александру Мартыновну отвезли в сарай, бросили на холодные доски. Всю ночь

в домах, прилегающих к типографскому двору, слышали крики и стоны женщины. Все знали – это Александра Мартыновна. Но под страхом смертной казни запрещалось подходить к двору. И никто не мог помочь ей. Она шла по своему многострадальному и мученическому пути голодная, истерзанная пытками и побоями, несла в себе нового человека и где-то в глубине своей души находила силы и все еще продолжала жить. Она родила сына, обмыла его снегом, пробившимся в щели сарая, и потеряла сознание.

Очнулась она в комендатуре. Ее одели в какой-то грязный халат. Хаазе сказал ей:

- Ваш сын будет жить только в том случае, если вы скажете, где отряд.

Александра Мартыновна поднялась, посмотрела на всех широко раскрытыми глазами и прошептала:

- Дите пощадите… Он ни в чем не виновен…

Ее ударили штыком, она умолкла и вдруг закричала:

- Не залить вам кровью земли нашей! Погубите сына, у меня полный лес сыновей, весь отряд!

Ее вновь ударили, ноги ее подкосились. Хазе принялся бить женщину сапогом. Но муки ее еще не окончились.

Александре Мартыновне предложили пойти в лес и указать хоть дорогу, ведущую к партизанам. Она поднялась попросила сапоги и пальто. Двигаться она не могла, и ее усадили в сани. Ефрем Цыганков видел, как Александра Мартыновна повела немцев на восток, а отряд размещался к западу от города. К ночи она вернулась, вернее – ее провезли по улицам города, избитую и окровавленную. В комендатуре ей показали мертвого сына. Александра Мартыновна заплакала, впервые за все дни своих страданий.

Ее вывели на крыльцо школы, где помещалась комендатура. Там стояли люди. Их разгоняли.

Александра Мартыновна вытерла слезы, будто они могли ее уличить в слабости, и произнесла скороговоркой, торопясь:

- Не склоняйте головы перед зверьем! Придет час нашей победы! Прощайте, родные мои!..

Ее толкнули прикладом, она соскользнула в снег, но опять поднялась, босая, измученная, истерзанная палачами. И голос ее вновь возник в вечерней тьме:

- Матери, родные, слышите ли вы меня? Я смерть принимаю из рук зверей, сына своего не пощадила, но правды своей не выдала. Слышите ли меня, матери?

Немецкие солдаты всех разогнали, а Александру Мартыновну затащили во двор, кололи штыками, били, снова кололи, пока она не рассталась с жизнью, как воин, как бессмертный герой земли советской.

И пока враг не будет разбит, все честные люди земли, все, в ком бьется материнское сердце, не забудут предсмертный клич Александры Мартыновны Дрейман. И никогда не смоется в памяти народа образ матери, чья любовь к родине, к свободе, к земле своей оказалась сильнее всех ее материнских чувств.

Вечная, бессмертная слава ей!

Западный фронт.

ИЗ ФРОНТОВОЙ ЖИЗНИ
Б. ГОРБАТОВ
Жизни и смерти
Издательство «Правда»
1945

Б. Горбатов

О ЖИЗНИ И СМЕРТИ

1

- Товарищ!

Сейчас нам прочитали приказ: с рассвета – в бой.

Семь часов осталось до рассвета.

Теперь ночь, дальнее мерцание звезд и тишина; смолк артиллерийский гром, забылся коротким сном сосед, где-то в углу чуть слышно зуммер, что-то шепчет связист…

Есть такие минуты особенной тишины, их никогда не забыть!

Когда-нибудь буду вспоминать я сегодняшнюю ночь – ночь на 30 октября 1941 года. Как плыла над донецкой степью луна. Как дрожали, точно озябши, звезды. Как ворочался во сне сосед. А над холмами, окопами, огневыми позициями стояла тишина – грозная, пороховая тишина. Тишина перед боем.

А я лежал в окопе, прикрывал фонарик полою мокрой шинели, писал тебе письмо и думал… И так же, как я, миллионы бойцов от Северного Ледовитого океана до Черного моря лежали в эту ночь на мокрой, жухлым листом покрытой земле, ждали рассвета и боя и думали о жизни и смерти, о своей судьбе.

2

Товарищ!

Очень хочется жить.

Жить, дышать, ходить по земле, видеть небо над головой.

Но не всякой жизнью хочу я жить, не на всякую жизнь согласен.

Вчера приполз к нам в окоп человек «с того берега», - ушел от немцев. Приполз на распухших ногах, на изодранных в кровь локтях. Увидев нас, своих, заплакал. Все жал руки. Все обнять хотел. И лицо его прыгало. И губы прыгали тоже…

Мы отдали ему свой хлеб, свое сало и свой табак. И когда человек насытился и успокоился, он рассказал нам о немцах: о насилиях, пытках, грабежах. И кровь закипала у бойцов, слушавших его, и жарко стучало сердце.

А я глядел на спину этого человека. Только на спину. Глядел, не отрываясь. Страшнее всяких рассказов была эта спина.

Всего полтора месяца прожил этот человек под властью немцев, а спина его согнулась. Словно хребет ему переломили. Словно все полтора месяца ходил он кланяясь, извиваясь, вздрагивая всей спиной в ожидании удара. Это была спина подневольного человека. Это была спина раба.

- Выпрямься! – хотелось закричать ему. – Эй, разверни плечи, товарищ! Ты среди своих.

Вот когда увидел я, с предельной ясностью увидел, что несет мне немец: жизнь с переломанной, покоренной спиной.

Товарищ! Пять часов осталось до рассвета. Через пять часов я пойду в бой. Не за этот серенький холм, что впереди, буду я драться с немцами. Из-за большего идет драка. Решается, кто будет хозяином моей судьбы: я или немец.

До сих пор я, ты, каждый был сам хозяином своей судьбы. Мы избрали себе труд по призванию, профессию по душе, подругу по сердцу. Свободные люди на свободной земле, мы смело глядели в завтра.

Вся страна была нашей Родиной, в каждом доме – товарищи. Любая профессия была почетна, труд – делом доблести и славы. Ты знал: каждая новая тонна угля, добытая тобой в шахте, принесет тебе славу, почет, награду. Каждый центнер хлеба, добытый тобой на колхозном поле, умножат твое богатство, богатство твоей семьи.

Но вот придет немец. Немец станет хозяином твоей судьбы. Он растопчет твое Сегодня и украдет твое Завтра. Он будет властвовать над твоей жизнью, над твоим домом, над твоей семьей. Он может лишить тебя дома, – и ты уйдешь, сгорбив спину, в дождь, в непогодь из родного дома. Он может и сохранить тебе жизнь, ему рабочий скот нужен, - и он сделает тебя рабом с переломанным, покорным хребтом. Ты добудешь центнер хлеба, - он заберет его, тебя оставит голодным. Ты вырубишь тонну угля, - он заберет ее, да еще обругает: «Русская свинья, ты работаешь плохо!» Ты всегда останешься для него Русским Иваном, низшим существом, быдлом. Он заставит тебя забыть язык своих отцов, язык. Которым ты мыслил, мечтал, на котором признавался любви невесте. Он заставит тебя выучиться лающей немецкой речи и будет смеяться, слушая, как ты коверкаешь чужой язык.

Все мечты твои он растопчет, все надежды оплюет. Ты мечтал, что сынишка твой, выросши, станет ученым, инженером, славным человеком на земле, но немцу не нужны русские ученые, он своих сгноил в собачьих лагерях. Ему нужен тупой, рабочий скот, и он погонит твоего сына в ярмо, разом лишив его и детства, и юности, и будущего.

Ты берег и лелеял свою красавицу дочку; сколько раз, бывало, склонялся ты вместе с женою над беленькой кроваткой Маринки и мечтал о ее счастье. Но немцу не нужны чистые русские девушки. В публичный

дом, на потеху разнузданной солдатне швырнет он твою гордость – Маринку, отличницу, красавицу…

Ты гордился своей женой. Первой девушкой была у нас на руднике Оксана! Тебе завидовали все. Но в рабстве люди не хорошеют, не молодеют. Быстро станет старухой твоя Оксана! Старухой с согбенной спиной.

Ты чтил своих дорогих стариков – отца и мать, - они тебя выкормили. Страна помогла тебе устроить им покойную, почетную старость. Но не имеют цены рабочего скота, и немец не даст тебе для твоих стариков ни грамма из центнеров хлеба, добытых твоею же рукой…

Может быть, ты все это вынесешь, может, не сдохнешь, отупев, смиришься, будешь влачить слепую, голодную, безрадостную жизнь?!

Я такой жизни не хочу! Нет, не хочу! Нет, лучше смерть, чем такая жизнь! Нет, лучше штык в глотку, чем ярмо на шею! Нет, лучше умереть героем, чем жить рабом!

Товарищ!

Три часа осталось до рассвета. Судьба моя в моих руках. На острие штыка моя судьба, а с нею и судьба моей семьи, моей страны, моего народа.

3

Товарищ!

Сегодня днем мы расстреляли Антона Чувырина, бойца третьей роты.

Полк стоял большим квадратом, небо было сурово, и желтый лист, дрожа, падал в грязь. И строй наш был недвижим, никто не шелохнулся.

Он стоял перед нами с руками за спиной, в шинели без ремня, жалкий трус, предатель, дезертир Антон Чувырин, и его глаза подло бегали по сторонам, нам в глаза не глядели. Он нас боялся, товарищей. Ведь это он нас продал.

Хотел ли он победы немцу? Нет, нет, конечно, как всякий русский человек. Но у него была душа зайца, а сердце хорька. Он тоже, вероятно, размышлял о жизни и смерти, о своей судьбе. И свою судьбу рассудил так: «Моя судьба – в моей шкуре».

Ему казалось, что он рассуждает хитро: «Наша возьмет – прекрасно. А я как раз и шкуру сберег. Немец одолеет, - ну, что же, пойду в рабы к немцу. Опять шкура при мне».

Он хотел отсидеться, убежать от войны. Будто можно от войны спрятаться! Он хотел, чтобы за него, за его судьбу дрались и умирали товарищи, а не он сам.

Эх, просчитался ты, Антон Чувырин! Никто за тебя драться не станет, если ты отойдешь в кусты. Здесь каждый дерется за себя и за Родину! За свою семью и за Родину! За свою судьбу и за Родину! Не отдерешь, слышишь, не отдерешь нас от родины: кровью, сердцем. Мясом приросли мы к ней. Ее судьба – наша судьба. Ее гибель – наша гибель. Ее победа – наша победа.

И когда мы победим, мы каждого спорим: что ты для победы сделал?

Мы ничего не забудем! Мы никогда не простим!

Вот он лежит в бурьяне. Антон Проклятый – человек, сам оторвавшись себя от родины в грозный для нее час. Он берег свою шкуру для собачьей жизни и нашел собачью смерть.

А мы проходим мимо по-ротно, железным шагом. Проходим мимо, не глядя, не жалея. С рассветом пойдем в бой. В штыки. Будем драться, жизни своей не

щадя. Может, умрем. Но никто не скажет о нас, что мы струсили, что шкура, наша была нам дороже отчизны.

4

Товарищ!

Два часа осталось до рассвета. Давай помечтаем.

Я гляжу сквозь ночь глазами человека. Которому близостью боя и смерти дано далеко видеть. Через многие ночи, дни, месяцы гляжу я вперед и там, за горами горя, вижу нашу победу. Мы добудем ее! Через потоки крови, через муки и страдания, через грязь и ужас войны мы придем к ней. К полной и окончательной победе над врагом! Мы ее выстрадали, мы ее завоюем.

Вспомни предвоенные годы. Над всем нашим поколением вечно висел меч войны. Мы жили, трудились, ласкали жен, растили детей, но ни на минуту не забывали: там, за нашей границей, сопит, ворочается злобный зверь. Война была нашим соседом. Дыхание гада отравляло нам и труд, и жизнь, и любовь. И мы спали тревожно. На дно сундуков не прятали старой шинели. Ждали.

Враг напал на нас. Вот он на нашей земле. Идет страшный бой. Не на жизнь – на смерть. Теперь нет компромиссов. Нет выбора. Задушить, уничтожить, раз навсегда покончить с гитлеровским зверем! И когда свалится в могилу последний фашист, и когда смолкнет последний залп гаубиц, - как дурной сон, развеется коричневый кошмар, и наступит тишина, величественная, прочная тишина победы. И мы услышим, товарищ, не только, как шумит ветвями веселый лес. Мы услышим, как облегченно, радостно вздохнет весь мир, все человечество.

Мы войдем в города и села, освобожденные от врага, и нас встретит торжественная тишина – тишина переполненных счастьем душ. А потом – задымят восстановленные заводы, забурлит жизнь… Замечательная жизнь, товарищ! Жизнь на свободной земле в братстве со всеми народами.

За такую жизнь и умереть не много. Это не смерть, а бессмертие.

5

Светает, товарищ…

По земле побежали робкие серые тени. Никогда еще не казалась мне жизнь такой прекрасной, как в этот предрассветный час. Гляди, как похорошела донецкая степь, как заиграли под лучами солнца меловые горы, стали серебряными.

Да, очень хочется жить. Увидеть победу. Прижать к шершавой шинели кудрявую головку дочери.

Я очень люблю жизнь, - и потому иду сейчас в бой. Я иду в бой за жизнь. За настоящую, а не рабскую жизнь, товарищ! За счастье моих детей. За счастье моей Родины. За мое счастье. Я люблю жизнь, но щадить ее не буду. Я люблю жизнь, но смерти не испугаюсь. Жить как воин и умереть как воин, - вот как я понимаю жизнь.

Рассвет…

Загрохотали гаубицы. Артподготовка.

Сейчас и мы пойдем.

Товарищ!

Над родной донецкой степью встает солнце. Солнце боя.

Под его лучами я торжественно клянусь тебе, товарищ: я не дрогну в бою. Раненый – не уйду из строя.

Окруженный врагами – не сдамся. Нет в моем сердце сейчас ни страха, ни смятения. Ни жалости к врагу, - только ненависть. Лютая ненависть. Сердце жжет. Это – наш смертный бой.

Иду.

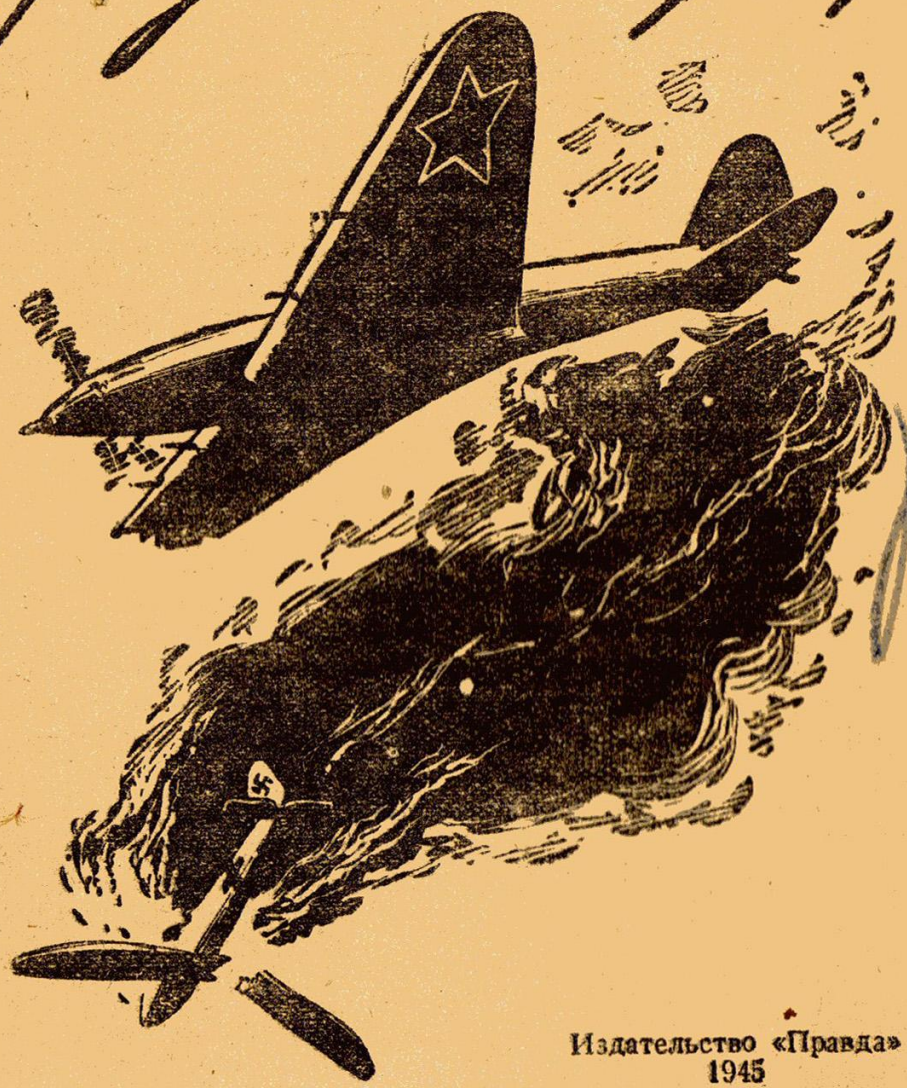
Южный фронт.

1945 К
47
С-37

ИЗ ФРОНТОВОЙ ЖИЗНИ

К. СИМОНОВ

Русское сердце



Издательство «Правда»
1945

К. Симонов

РУССКОЕ СЕРДЦЕ

Капитана Позднякова хоронили утром. На вездеходе, покрытом зелеными северными елками, товарищи везли его в последнюю дорогу. За гробом шли летчики, свободные от дежурства, и все, кто был рядом с ним в последнем бою. Шел за гробом его друг и заместитель Алеша Хлобыстов, шел так же, как и летел, - без шлема, угрюмо опустив кудрявую голову. Привезенный из города духовой оркестр играл похоронный марш, и когда гроб опускали в могилу, то летчики не плакали. Но не могли говорить. Стоя над могилой, в последний раз проводив взглядом покойного, Хлобыстов, обвел всех сухими, темными от усталости и бессонницы глазами и сказал, что он, Алексей Хлобыстов, друг и заместитель погибшего, будет мстить. Потом был дан троекратный салют из винтовок, и генерал бросил в могилу первую горсть земли.

Через час Хлобыстов уже снова дежурил у своего самолета. Стояли северные весенние дни, солнце только приближалось к горизонту, но так и не опускалось за него. Летчики дежурили круглые сутки, сидя в своих горбатых жужжащих истребителях. Спать было почти некогда. Но даже и в те немногие часы, какие оставались на сон, все эти дни Хлобыстов не мог заснуть. Он неподвижно лежал на своей койке и молча, безотрывно смотрел на соседнюю, пустую.

Во время дежурства он сидел в кабине, рассеянно поглядывая по сторонам. Глядя на соседний самолет, он вдруг вспомнил первый самолет, который он близко увидел. Это было под Москвой. На строительную площадку их завода неожиданно сел «У-2». Самолет

был старенький, потрепанный, но он, тогда еще мальчишка, ощутил какую-то странную дрожь и желание немедленно влезть в эту кабину, взяться там за что-то руками, - за что, он толком не знал, - и взлететь. Да, у него еще тогда был такой характер: он любил быстро исполнять свои желания. Через полгода он уже летал в аэроклубе. Он, улыбнувшись, вдруг вспомнил всех своих старых учителей и начальников. Ему везло: они все были настоящие парни. Таким же был последний – капитан Поздняков.

Счет мести! Да, он так и сказал на могиле: счет мести за Позднякова! Он сделает его длинным. Он теперь сумеет это. Он уже не тот зеленый юнец, который 1 июля сбил первый «Юнкерс» и так разволновался, что у него поднялась температура и прямо из самолета его повели в санчасть. Двадцать два, сбитых вместе с друзьями, и шесть собственных – это все-таки не шутка! Когда он вылезает теперь из самолета после боя, у него болят от напряжения спина и грудь. Но он не волнуется. Нет, теперь он бывает холоден и спокоен. Он влезает в свою зеленую машину, и она становится продолжением его тела, ее пушки бьют вперед, как прямой удар кулака. Да, если бы он сейчас не летал, если бы не эта машина, он бы совсем извелся от горя. Хорошая машина! Без такой нельзя жить – жить без нее для него все равно, что не дышать.

Осенью, когда он, сбив четвертый самолет, врезался в лес и, обрубая верхушки сосен, упал на землю, когда он потом лежал в госпитале с помятой грудной клеткой, ему иногда казалось, что больно дышать не от того, что разбита грудь, а от больничного воздуха, - от того, что он не может сесть в машину и подняться, и там, наверху, дохнуть полной грудью. Врачи говорили, что все это наоборот, но он-то знал, что прав он, а не они. И когда однажды вечером к нему

пришли и спросили: - «Хлобыстов, хочешь учиться летать на новой машине?», - он молча утвердительно закрыл глаза, потому что боялся ответить вслух: его душил кашель, он боялся, что сейчас раскашляется и ему прикажут еще лежать. Потом он отдышался и сказал: «Хочу!»

Он попал в госпиталь весь в бинтах и перевязках, без шлема и комбинезона, и теперь когда его выписывали и снова принесли комбинезон, его охватила дрожь, второй раз в жизни, - та самая, какая была у него, когда он впервые увидел старенький «У-2» на заводской площадке.

А через месяц он уже летал на новой машине, - вот на такой же, в какой он сидит сейчас, - с ее короткими сильными плоскостями и острым, щучьим носом.

Из-за облаков показалось солнце и желтым языком света лизнуло по левой плоскости. Он повернулся налево и невольно вспомнил, какой она была, эта плоскость, когда он вернулся в тот день из боя. От нее оставались только две трети, и там, где она была обрезана, торчали какие-то рваные лоскутья. Ребята на обратном пути спрашивали по радио: «Как идешь?» Он отвечал: «Ничего, иду». Что же им было еще ответить? Он же в самом деле шел, сам удивлялся, но шел.

…Дежурство подходило к концу. К его самолету подошли несколько человек. Знакомый политрук из их авиационной газеты – хороший парень, но мучитель (вечно что-то ему рассказывай!) – представил Хлобыстову двух корреспондентов. Хлобыстов был недоволен и даже не особенно старался скрыть это. Лучше помолчать и подумать о будущем, чем вспоминать о прошлом. Но корреспонденты были то ли хитрецы, то ли просто свои ребята: они не стали его расспрашивать о том, как и на какой высоте он заходил в хвост, а просто начали болтать о том и о сем, и

вдобавок еще один из них оказался земляком-рязанцем, из тех самых мест, где он когда-то ползал мальчишкой.

Его дежурство кончилось, и они все вместе пошли к землянке. И когда там, в землянке, разговор все-таки зашел о том дне, в который все это случилось и после которого его портреты были напечатаны во всех газетах, он снова насторожился и сухо и коротко начал еще раз, неизвестно в какой по счету, повторять обстоятельства боя. Но они остановили его. Нет, они все это уже знали сами, они не просят его об этом рассказывать. Они просто хотят, если он может это вспомнить, что он тогда чувствовал, как было у него на душе. Он уперся локтями в стол и опустил голову на руки. В самом деле, что он тогда чувствовал?

День был беспокойный, и он очень устал. Да, конечно, он тогда очень устал. Сначала он летал вдвоем с Поздняковым на разведку, потом еще раз на штурмовку, потом заправляли самолет. Он стоял около, и ему очень хотелось часок поспать, но надо было вылетать через четверть часа. Он слышал, как, клокоча, в баке переливался бензин. По звуку он знал, сколько уже налито. Еще пять минут – и он полетит. Подошел комиссар части и тут же, на дежурстве, у самолета, вручил ему партийный билет. И именно от того, что все было так просто, что были только он и комиссар, и рядом стояла машина и клокотал бензин и сейчас он должен был взлететь – все это вдруг показалось ему очень торжественным. Он немного заволновался и голосом несколько более глухим, чем обычно, сказал, что он будет большевиком не на словах, а на деле, а про себя подумал, что не только на земле, но и там, в воздухе. И как раз в эту секунду взлетела ракета, и он ничего больше не успел сказать, да это наверное и не было нужно. И они полетели штурмовать: Поздняков, он

и четверо ребят, еще совсем молодых, - по два, по три боя у каждого.

Он очень хорошо помнит первое свое чувство, когда они увидели 28 самолетов: это было чувство, что Мурманску угрожает опасность. А то, что их было двадцать восемь, - это уже было второе чувство. Это было не страшно, но серьезно, очень серьезно.

- Смотри, сколько на нас идет, - сказал он по радио Позднякову и услышал в наушниках его голос:

- Смотри за молодыми, я иду в атаку.

И в следующую минуту они уже дрались. Один «Мессершмитт» упал после первой же атаки. В эту минуту он подумал, что теперь их двадцать семь. Потом было уже некогда думать, потому что он больше всего боялся за молодых и, крутясь и изворачиваясь, прикрывал им хвосты. Снизу показался двухместный «Мессершмитт-110». Используя превосходство в высоте, он пошел за немцем. Он хорошо видел голову стрелка, видел прошедший мимо веер трассирующих пуль. Расстояние все сокращалось. Стрелок уронил голову и замолчал. Они шли над самой опушкой леса, впереди была сопка.

И именно в ту секунду, когда привычное желание. Видя впереди гору, взять ручку на себя и вывести вверх самолет, охватило его, - именно в эту секунду он решил таранить. Пойти вверх – значило выпустить немца. Он на какую-то долю секунды оглянулся. А сзади шли еще три немца. И вдруг оттого, что передний немец был так близко, оттого, что так хорошо был виден его хвост с черным крестом. Оттого, что расстояние было таким точным и ощутимым, он ясно и холодно подумал, что вот сейчас он окажется немного сзади и правее, поднимет правую плоскость и ударит ее концом поп хвосту. Это было яростное желание, помноженное на скорость послушной машины. Толчок был сильный и

короткий. Немец врезался в сопку, а Хлобыстов пошел вверх. И то, что правое крыло было теперь короче левого, то, что его конец был отрезан, казалось странным на взгляд. Вся плоскость немножко задралась кверху, он заметил это сразу. В эту секунду он в последний раз услышал голос командира:

- Есть один! – сказали ему наушники глуховатым и торжествующим голосом Позднякова.

Но машина была уже не так послушна, она уже не казалась продолжением рук и ног. В следующую секунду, отбиваясь от немцев, самолеты стали в круг. На несколько мгновений рассыпавшиеся после тарана немцы оправились и снова шли в атаку на лобовых курсах. Он увидел, как Поздняков пошел в прямую атаку на немецкого «асса». Потом, уже на земле, вспоминая об этом, он понял, что Поздняков тогда решил, хотя бы ценой гибели, сбить немецкого командира. Рассеять их строй во что бы то ни стало. Но в ту секунду Хлобыстов ничего не успел подумать, потому что оба истребителя сошлись на страшных скоростях, немец не захотел свернуть, и они рухнули, врезавшись друг в друга крыльями. А в следующее мгновение он уже почувствовал себя командиром. Позднякова уже не было, не было и никогда не будет, и ему. Хлобыстову, надо самому кончать этот бой.

- Я принимаю команду, - сказал он по радио пересохшими губами. – Иду в атаку, прикрывайте мне хвост.

Обоих немцев, шедших на него, он увидел сразу. Горючее кончалось. Немцев было еще много, за его спиной было четверо молодых летчиков, для которых единственным командиром стал теперь он. На этот раз, решив таранить, он уже не верил, что выйдет живым. Была только одна мысль: вот он сейчас ударит немцы рассыплются, и остальные ребята вылезут из их кольца.

И снова мысли сменились десятой долей секунды холодного расчета. Он рассчитал наверняка, и, когда правый немец отвернул, он ударил по крылу левого своим разбитым крылом. Был сильный удар, он потерял управление, его потащило вниз вслед за немцем, который упал, сделав три витка. Но именно в ту секунду, когда его тащило вниз, и он инстинктивно с этим боролся, он скорее почувствовал себя живым, у него в первый раз мелькнули в голове эти слова, которые он сказал потом на могиле Позднякова: «Счет мести». Машина кренилась и падала, он уже не вел ее, а тащил. Сбегающиеся люди, обломок крыла, комиссар, сжимавший его в объятиях, - все это уже путалось в голове, затемненной чувством страшной человеческой усталости.

Хлобыстов сидел за столом и все так же, подперев голову руками, внимательно глядя на сидящих рядом с ним, вспоминал, что у него было в те минуты на душе. Многое было на душе…

Дверь в землянку открылась. Вошел кто-то из дежуривших летчиков, видимо, новый. И спросил, где свободная койка. Хлобыстов секунду помолчал и потом медленным движением руки показал на стоявшую рядом с ним койку.

- Вот эта, - сказал он и, еще помолчав, добавил: - совсем свободная.

***

…Полярной ночью мы улетали с Севера.

- Хлобыстов сегодня не дежурит? – спросили мы.

- Нет, - сказал комиссар. – Его здесь нет. Он в госпитале. Вчера он пошел на третий таран и, сбив немца, выбросился на парашюте. Ему не повезло вчера:

его сразу ранили из пушки в руку и в ногу. И он, чувствуя, что не может долго драться пошел на таран.

- А разве он не мог просто выйти из боя?

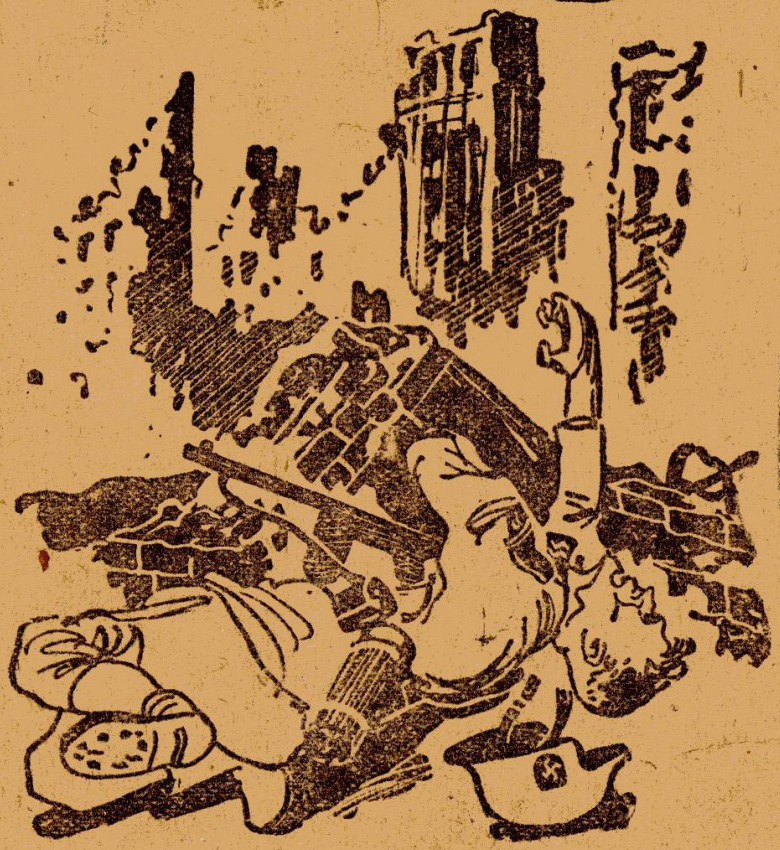
- Не знаю, - сказал комиссар, - не знаю. Вот скоро выздоровеет, у него спросим. Наверное, скажет, что не мог. У него такой характер: он вообще не может видеть. Когда от него уходит живой немец.

Я вспомнил лицо Хлобыстова в кресле самолета, непокорную копну волос без шлема, дымчатые светлые мальчишеские глаза. И я понял, что это один из тех людей, которые иногда ошибаются, иногда без нужды рискуют, но у которых есть такое сердце, какого не найдешь нигде, кроме России, – веселое и неукротимое русское сердце.

ИЗ ФРОНТОВОЙ ЖИЗНИ

В. ГРОССМАН

Сталинградская БЫЛЬ



Издательство «Правда»
1945

В. Гроссман

СТАЛИНГРАДСКАЯ БЫЛЬ

Много дней и много ночей эти всевидящие глаза смотрят с пятого этажа разрушенного дома на город. Эти глаза видят улицу, площадь, десятки домов с провалившимися полами, пустые, мертвые коробки, полные обманчивой тишины. Эти коричневые, круглые, чуть желтые, чуть зеленоватые глаза, не поймешь, светлые они или темные, видят далекие холмы, изрытые немецкими блиндажами, они считают дымки костров и кухонь, машины и конные обозы, подъезжающие к городу с запада. Иногда бывает очень тихо, и тогда слышно, как в доме наискосок, где сидят немцы, обваливаются небольшие куски штукатурки, иногда слышна немецкая речь и скрип немецких сапог. А иногда бомбежка и стрельба так сильны, что приходится наклоняться к уху товарища и кричать во весь голос, и товарищ разводит руками, показывает: «Не слышу».

…Анатолию Чехову идет двадцатый год. Сын рабочего химического завода, этот юноша с ясным умом, добрым сердцем и недюжинными способностями, обожавший книги, знаток и любитель географии, мечтавший о путешествиях, любимый товарищами, соседями, завоевавший неприступные сердца рабочих-стариков своей готовностью помочь обиженному, с десятилетнего возраста познал темные стороны жизни. Отец его пил. Жестко и несправедливо обращался с женой, сыном, дочерьми, а года за два до войны бросил их на произвол судьбы и ушел. Тогда Анатолий Чехов оставил школу, где шел по всем предметам круглым отличником, и поступил работать на казанскую фабрику. Он легко и быстро овладел многими рабочими

специальностями. Поступив на фабрику учеником жестянщика, вскоре сделался, несмотря на малые свои годы, электриком, газосварщиком, аккумуляторщиком, незаменимым и всеми уважаемым мастером.

29 марта 1942 года его вызвали повесткой в военкомат, и он попросился в школу снайперов, «Вообще я в детстве не стрелял ни из рогатки, ни из чего, жалел бить по живому, - говорит он. – Ну, я хотя в школе снайперов шел по всем предметам отлично, а при первой стрельбе совершенно оскандалился – выбил девять очков из пятидесяти возможных. Лейтенант сказал мне: «По всем предметам отлично, а по стрельбе плохо. Ничего из вас не выйдет». Но Чехов не стал расстраиваться, он добавил к дневным часам занятий долгое ночное время. Десятки часов подряд читал теорию, изучал боевое оружие. Он очень уважал теорию и верил в силу книги, он в совершенстве изучил многие принципы оптики и мог, как заправский физик, говорить о законах преломления света, о действительном и мнимом изображении, рисовать сложный путь светового луча через 9 линз оптического прицела, он понял внутренний, теоретический принцип всех приспособлений – и поворота дистанционного маховичка, и связи пенька, приподымающего при прицеливании с горизонтальными нитями… и объемное, широкое, четырехкратно приближенное изображение Чехов воспринимал не только глазами стрелка, но и физика.

Лейтенант ошибся. При стрельбе из боевого оружия по движущейся мишени Чехов поразил «в головку» всеми тремя данными ему патронами маленькую юркую фигурку. Он кончил снайперскую школу отличником, первым, и сразу же попросился в часть добровольцем, хотя его оставили инструктором – учить курсантов и снайперской, и обычной стрельбе, и пользованию

автоматом, и различными гранатами. Так уж повелось, что и в школе, и на производстве, и в военном деле он легко и совершенно овладевал пониманием различных предметов.

Этому юноше, которого все любили за доброту и преданность матери и сестрам. Не пулявшему в детстве из рогатки, ибо он «не желал бить по живому», захотелось пойти на передовую. «Я хотел стать таким человеком, который сам уничтожает врага», - сказал мне Анатолий Чехов.

На марше он тренировал себя в определении расстояния без оптического прибора. Анатолий загадывал: «Сколько до того дерева?» - и шагами проверял. Сперва получалась полная ерунда, но постепенно он научился определять большие расстояния на-глаз с точностью до 2-3 метров. И эта нехитрая наука помогла ему на войне не меньше, чем знание сложной оптики и законов движения луча через комбинацию 9 двояковыпуклых и вогнутых линз. Самый ложный пейзаж научился он воспринимать как совокупность ориентиров – березки, кусты шиповника, ветряные мельницы стали для него местами, откуда мог появиться противник, они помогали быстро и точно повернуть дистанционный маховичок.

С первых же дней пребывания на фронте он перестал воспринимать бой как хаос огня и грохота, а научился угадывать, чего хочет противник. «Было ли страшно в первые дни? Нет! У меня такое чувство было. Словно это и не война».

На фронте часто заводят разговор о храбрости. Обычно разговор этот превращается в горячий спор. Одни говорят, что храбрость – это забвение, приходящее в бою. Другие чистосердечно рассказывают, что, совершая мужественные поступки, они испытывают немалый страх и крепко берут себя в

руки, заставляют усилием воли, подняв голову, выполнять долг, идти навстречу смерти. Третьи говорят: «Я храбр, ибо уверил себя в том, что меня никогда не убьют».

Капитан Козлов, человек очень храбрый, много раз водивший свой мотострелковый батальон в тяжелые атаки, говорил мне, что он, наоборот, храбр оттого, что убежден в своей смерти, и ему все равно, случится с ним смерть сегодня или завтра. Многие считают, что источник храбрости – это привычка к опасности, равнодушие к смерти, приходящее под вечным огнем. У большинства же в подоснове мужества и презрения к смерти лежат чувство долга, ненависть к противнику, желание мстить за страшные бедствия, принесенные оккупантами нашей стране. Молодые люди говорят, что они совершают подвиги из желания славы, некоторым кажется, что на них в бою смотрят их друзья, родные, невесты. Один пожилой командир дивизии, человек большого мужества, на просьбу адъютанта уйти из- под огня, смеясь, сказал: «Я так сильно люблю своих двух детей, что меня никогда не могут убить».

Я думаю, что спорить фронтовому народу о природе храбрости нечего. Каждый храбрец храбр по-своему. Велико и ветвисто могучее дерево мужества, тысячи ветвей его, переплетаясь, высоко поднимают к небу славу нашей армии, нашего великого народа.

Но если каждый отважный отважен по-своему, то себялюбивая трусость всегда в одном: в рабском подчинении инстинкту сохранения своего живота. Человек, сегодня бежавший с поля боя, завтра выбежит из горящего дома, оставив огню свою старуху-мать, жену, малых ребят.

У Чехова увидел я еще одну разновидность мужества, самую простую, пожалуй, самую «круглую», прочную: ему органически, от природы было чуждо

чувство страха смерти, - так же, как орлу чужд страх перед высотой

Он получил свою снайперскую винтовку перед вечером. Долго обдумывал он, какое место занять ему – в подвале ли, засесть ли на первом этаже, укрыться ли в груде кирпича, выбитого тяжелой фугаской из стены многоэтажного дома. Он осматривал медленно и пытливо дома переднего края нашей обороны – окна с обгоревшими лоскутами занавесок, свисавшую железными, спутанными космами арматуру, прогнувшиеся балки межэтажных перекрытий, обломки трельяжей, потускневшие в пламени никелированные остовы двуспальных супружеских кроватей. Его пытливый и совершенный глаз ловил и фиксировал все мелочи. Он видел велосипеды, висевшие на стенах над пропастью пяти обвалившихся этажей, он видел поблескивавшие осколки зеленоватых хрустальных рюмок, куски зеркала, порыжевшие и обгоревшие куски жести, развеянные дыханием пожара, словно кабели, толстые водопроводные тубы – мышцы и кости города.

Чехов сделал выбор – он вошел в парадную дверь высокого дома и по уцелевшей лестнице стал подниматься на пятый этаж. Местами ступени были раздроблены, на площадках лестниц, в прямоугольники сгоревших дверей видны были пустые коробки, этажи различались лишь по разной окраске стен – квартира второго этажа была розовой, третьего – темно-синей, четвертого – фисташковой, с коричневой панелью. Чехов поднялся на площадку пятого этажа: это было то, что он искал. Обвалившаяся большая стена открывала широкий обзор – прямо и несколько наискосок стояли занятые немцами дома, влево шла прямая, широкая улица, дальше, в метрах 600 – 700, начиналась площадь. Все это было у немцев. Чехов устроился на лестничной площадке остроконечного выступа стены,

устроился так, чтобы тень от выступа падала на него – он становился совершенно невидимым в этой тени, когда вокруг все освещалось солнцем. Винтовку он положил на чугунный узор перил. Он поглядел вниз. Привычно определил ориентиры, их было мало. Вскоре наступила ночь. Голубое небо стало темно синим. Словно серые тихие покойники, стояли высокие сгоревшие дома. Взошла луна. Она стояла в небесном зените, большая, ясная: толстое стальное зеркало, равнодушно отражающее жестокую картину битвы. Луна была медово желтой, спелой, а свет ее, словно отделившийся от меда сухой, белый воск, казался легким, не имеющим ни вкуса, ни запаха, ни тепла. Этот восковой, белый свет тонкой пленкой лег на мертвый город, на сотни безглазых домов, на поблескивающий, как лед, асфальт улиц и площадей. Чехову вспомнились книги о развалинах древних городов, и страшная, горькая боль сжала его молодое сердце. Ему показалось, что он задыхается – так остро и мучительно было желание увидеть этот город свободным, вновь ожившим, шумным, которые ожидали на дороге попутных машин, этих мальчишек и девчонок, со старческой серьезностью провожавших глазами идущие в сторону Сталинграда войска. Этих стариков кутающихся в бабьи платки, городских бабушек, надевших поверх кацавеек сыновьи пальто и шинельки.

Тень мелькнула по карнизу. Бесшумно прошла большая сибирская кошка с пушистым хвостом. Она поглядела на Чехова, глаз ее засветился синим электрическим огнем. Где-то в конце улицы залаяла собака, за ней вторая, третья, послышался сердитый голос немца, пистолетный выстрел, отчаянный визг собаки, и снова злобный, тревожный и дружный лай: это верные жилью псы мешали немцам шарить в ночное время по разрушенным квартирам. Чехов приподнялся,

посмотрел – в тени улицы мелькали быстрые темные фигуры, немцы несли к дому мешки, подушки. Стрелять нельзя было – вспышка выстрела сразу же демаскировала бы снайпера. «Эх, чего наши смотрят», - подумал с тоской Чехов, и сразу же, едва появилась у него эта мысль, где-то сбоку густо с железной злобой заработал советский пулемет. Чехов встал и осторожно, стараясь не хрустеть блестящими при луне осколками стекол, стал спускаться вниз.

В подвале здания разместилось пехотное отделение. Сержант спал на никелированной кровати, бойцы лежали на полуобгоревших обрывках плюшевых и шелковых одеял. Чехову налили чаю в жестяную кружку, чайник только что вскипел, и края кружки обжигали рот. Есть Чехову не хотелось, и он отказался от пшенной каши, сидел на кирпичиках и слушал, как в темном углу подвала красноармеец-сталинградец рассказывал о былой жизни: какие были кино, какие картины в них показывали, о водной станции, о пляже, о театре, о слоне из зоологического, погибшем при бомбежке, о танцевальных площадках, о славных девчатах.

И, слушая его, Чехов все еще видел перед собой видение мертвого Сталинграда, освещенного полной луной. Он рано, с самых детских лет, узнал тяжести жизни. «Отец часто шумел, - мне и читать и уроки учить трудно было, своего уголочка не имел», печально сказал он мне. Но в эту ночь он впервые во всей глубине понял страшную силу зла, принесенного немцами нашей стране, он понял, что малые горести и невзгоды ничто по сравнению с великой народной бедой. И его молодое и доброе сердце стало горячим, оно жгло его. Чехову казалось, что кипяток, который он пил, обжигает ему нутро.

Сержант проснулся, заскрипел пружинной кроватью и спросил: «Ну, что, Чехов, много на почин убил сегодня немцев?». Чехов сидел, задумавшись, потом вдруг сказал бойцам, вернувшимся недавно из боевого охранения и налаживавшим патефон: «Ребята, патефон сегодня я прошу не заводить».

Утром он встал до рассвета, не попив, не поев, а лишь налил в баклажку воды, положил в карман пару сухарей и поднялся на свой пост. Он лежал на холодных камнях лестничной площадки и ждал. Рассвело, вокруг все осветилось, и так велика была жизненная сила молодого утреннего солнца, что даже несчастный город, казалось, печально и тихо улыбнулся. Только под выступом стены, где лежал Чехов, стояла холодная, серая тень. Из-за угла дома вышел немец с эмалированным ведром. Потом уже Чехов узнал, что в это время солдаты всегда ходят с ведрами – носят офицерам мыться. Чехов повернул дистанционный маховичок, поплыл кверху крест нитей, он отнес прицел от носа солдата на 4 сантиметра вперед и выстрелил. Из-под пилотки мелькнуло что-то темное, голова дернулась назад, ведро выпало из рук, солдат упал набок. Чехова затрясло. Через минуту из-за угла появился второй немец, в руках его был бинокль. Чехов нажал спусковой крючок. Потом появился третий – он хотел пройти к лежавшему с ведром. Но он не прошел «Три», - сказал Чехов и стал спокоен.

В этот день много видели глаза Чехова. Он определил дорогу, которой немцы ходили в штаб, расположенный за домом, стоявшим наискосок, - туда всегда бежали солдаты, держа в руке белую бумагу – донесение. Он определил дорогу, по которой немцы подносили боеприпасы к дому напротив. Где сидели автоматчики и пулеметчики. Он определил дорогу, которой немцы несли обед и воду для умывания и

питья. Обедали немцы всухомятку. Чехов знал их меню, утреннее и дневное – хлеб и консервы. Немцы в обед открыли сильный минометный огонь, вели его примерно 30 – 40 минут и после кричали хором: «Русс, обедать!» Это приглашение к примирению приводило Чехова в бешенство. Ему, веселому, смешливому юноше, казалось отвратительным, что немцы пытаются заигрывать с ним в этом трагически разрушенном, несчастном и мертвом городе. Это оскорбляло чистоту его души, и в обеденный час он был особенно беспощаден.

Снайперу Чехову хотелось, чтобы немцы не ходили по городу во весь рост, чтобы они не пили свежей воды, чтобы они не ели завтраков и обедов. Он зубами скрипел от желания пригнуть их к земле. Вогнать в самую землю. Юный Чехов, любивший книги и географию, мечтавший о далеких путешествиях, нежный сын и брат, не стрелявший в детстве из рогатки. Жалевший «бить по живому», стал страшным человеком, истребителем оккупантов. Разве не в этом железная, святая логика отечественной войны?

К концу дня Чехов увидел офицера, сразу было видно, что он важный чин. Офицер шел уверенно, и из всех домов выскакивали автоматчики, становились перед ним на вытяжку. И снова Чехов повернул дистанционный маховичок, поплыл кверху крест нитей. Офицер мотнул головой, упал боком, ботинками в сторону Чехова. Тот заметил, что ему легче стрелять в бегущего человека, легче, чем в стоящего – попадание получалось точно в голову. Он сделал и другое открытие, помогавшее ему стать невидимым для противника. Снайпер чаще всего обнаруживается при выстреле по вспышке, и Чехов стрелял всегда на фоне белой стены, не выдвигая дула винтовки до края стены

сантиметров на 15 – 20. на белом фоне выстрел не был виден.

Снайпер Чехов желал теперь лишь одного – пусть немцы не ходят по Сталинграду во весь рост. И он добился своего. К концу первого дня немцы не ходили, а бегали. К концу второго дня они стали ползать. «Утренний солдат» не пошел уже за водой для офицера. Дорожка, по которой немцы ходили за питьевой водой, стала пустынной – они отказались от свежей воды и пользовались гнилой, из котла. Вечером второго дня, нажимая на спусковой крючок, Чехов сказал: «Семнадцать». В этот вечер немецкие автоматчики сидели без ужина. Чехов спустился вниз. Ребята завели патефон, ели кашу и слушали пластинку «Синенький скромный платочек». Потом все пели хором: «Раскинулось море широко». Немцы открыли бешеный огонь – били минометы, пушки, станковые пулеметы. Особенно упорно «гремели» голодные автоматчики. Они уже больше не кричали «рус, ужинать».

Всю ночь слышны были удары кирки и лопаты – немцы копали в мерзлой земле ход сообщения. На третье утро Чехов увидел множество изменений – немцы подвели две траншеи к асфальтовой ленте улицы – они отказались от воды, но хотели по этим траншейкам подтаскивать боеприпасы. «Вот я вас и пригнул к земле», - подумал Чехов. Он сразу увидел в стене дома напротив маленькую амбразурку. Вчера ее не было. Чехов понял: «немецкий снайпер».

Послышался крик, топот сапог – автоматчики унесли снайпера, не успевшего сделать ни одного выстрела по Чехову. Чехов занялся траншеей. Немцы ползком пробирались до асфальта, перебегали асфальт и снова прыгали во вторую траншею. Чехов стал бить их в тот момент, когда они вылезали на асфальт. Первый немец

пополз обратно в траншею, пополз медленно, словно неохотно. Он хоронился. «Вот я и вогнал тебя в землю», - сказал себе Чехов.

На восьмой день Чехов держал под контролем все дороги к немецким домам. Надо было менять позицию, немцы перестали ходить и стрелять. Он лежал на площадке и смотрел своими молодыми глазами на умерщвленный немцами Сталинград, юноша, жалевший «бить по живому» из рогатки, ставший по святой логике отечественной войны страшным человеком, мстителем.

г. Сталинград.

47 С-32

ИЗ ФРОНТОВОЙ ЖИЗНИ

С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ

Хитрая девчонка

Издательство «Правда»
1945

СПИС 2Н2

С. Сергеев-Ценский

«Хитрая девчонка»

Новелла

«Глаза у нее были светлые, а взгляд – быстрый, сразу дающий оценку, - это отмечал в ней всякий, кто в первый раз ее видел.

Ростом она вышла невелика, - плохо питалась в детстве, - но любила говорить о себе поговоркой: «Птичка-невеличка, да коготок востер». Небольшое легкое тело ее было ловкое, верткое, хотя и без суетливых, лишних движений. Во время сложной домашней работы тонкие детские руки ее мелькали здесь и там как бы не делая никаких усилий, однако все бывало сделано, как надо и в срок или даже гораздо раньше. Быстрый взгляд ее светлых глаз не пропускал при этом ничего, что делалось кругом, а очень чуткий слух ловил все звуки. Так, деятельно помогая матери в семье, где она была старшей из четырех ребятишек, она в то же время знала все и обо всех в целом доме, где было порядочно квартир.

Мать ее работала ткачихой, - уходила на фабрику утром, приходила к вечеру усталая, а ее двенадцатилетняя старшенькая Зина мало того, что кормила ее приготовленным без нее обедом, но еще и успевала при этом передать кучу разных новостей о жильцах дома – соседях.

- Ух, и хитрая же ты у меня девчонка растешь! – сказала как-то мать Зине, гладя ее русые волосы, заплетенные в две косички.

- О-о, а как же! Я очень даже хитрая, мама! – тут же и радостно отозвалась на это Зина. Так и пошло с тех пор и дома, и по всему двору – «хитрая девчонка».

Училась она мало, - некогда было, но читать-писать все-таки умела, а считала безошибочно, потому что сама покупала на рынке каждый раз все, что нужно было для обеда на семью в пять душ (отец ее умер, когда ей было лет восемь).

Тремя младшими – двумя сестренками и братишкой – она командовала изо дня в день, нисколько этим не тяготясь, между делом, и покрикивая иногда для острастки:

- Ой, смотри у меня, а то шлепки дам!

И младшие ее слушались. И так тянулось, пока не подросла ей смена и сама она не поступила на ту же фабрику, где работала мать.

Ей было уже восемнадцать лет, когда началась война и немецкие истребители и бомбовозы загудели над их городом.

Она рыла окопы вблизи городских окраин вместе с тысячью рабочих женщин, а в городе уже рвались сброшенные бомбы и гремела ответная пальба зениток. Наконец, снизившись так, что было видно кресты на крыльях и свастику на хвосте, один воздушный разбойник открыл по ним, работницам-землекопам, стрельбу из пулемета. Зина не пострадала тогда сама, но около нее оказались две женщины раненые, одна убитая. В тот же день, вечером, Зина стояла в военкомате, просясь на фронт.

- Ну, вы – такая маленькая, - куда уж вам на фронт! – сказали ей там.

- Ничего подобного! – возмутилась она. – Птичка-невеличка – коготок востер.

- Вообще очень молоды вы, - сказали ей на это и занялись другими делами.

- Восемнадцать лет уж имею, - разве мало? – спросила она и добавила не без гордости: - Кроме того, я очень хитрая, товарищ военком.

Не помогло это, - ее не взяли.

Тогда, обиженная и упорная, она пробралась на фронт сама, когда линия фронта проходила от города уже всего только в тридцати километрах.

Здесь тоже сначала удивились ей, когда она заявила, что хочет ходить с бойцами в разведку, но потом все же оставили ее, хотя и не разведчиком, а санитаркой, когда узнали, что перевязывать раны она училась.

Ей выдали шинельку, плащ-палатку. Она казалась в шинели мальчиком, питомцем роты. Но в первом же бою, такая маленькая и с виду бессильная, заставила она отнестись к себе серьезно.

Казалось всем, что первый большой бой, в который она попала, должен был оглушить, ошеломить ее, раздавить непомерным грохотом артиллерийских залпов, взрывами огромных снарядов, жутким звериным завыванием мин, зловещим тататаканьем ужаснейших машин истребления людей – пулеметов и автоматов; однако она, маленькая восемнадцатилетняя ткачиха, перенесла, не теряясь, не только это.

Пели пули кругом, но ведь она была санитаркой, - ей надо было работать, надо было спасать раненых бойцов.

Как именно? – подползать то к одному, то к другому и оттаскивать их в сравнительно безопасное место вместе с их оружием.

Большая нужна была ловкость, чтобы не только подползти, но суметь и взяться за раненого так, чтобы удобнее было его тащить и ему чтобы не было слишком больно. Этому ее никто не учил, да всех случаев при этом трудном деле нельзя ведь и предвидеть.

Она ползла под пулями и подбадривала себя: «Ничего-ничего… я доползу, я – хитрая…»

В детстве любила она смотреть на муравьев, тащивших других муравьев в свой муравейник. Зачем они это делали, она не знала, но наблюдала за их работой с большим любопытством. Теперь сама она была таким же муравьем.

Вот взорвалась мина шагах в двадцати, - выла-выла и трахнула… прянуло вверх широкое полотнище дыма, земли, осколков, - заволокло свет.

Рядом с раненым в обе ноги, которого Зина тащила, она приникла к земле точно перепелка в виду ястреба, и несколько мгновений не чувствовала даже, жива ли она или с ней все кончено. Но стоит только ей убедиться, что жива и даже не ранена, как она уже проворно ползла дальше и тянула одной рукой раненого, другой – его винтовку.

Так под сильным обстрелом, где прячась за груды вздыбленной бомбардировкой земли, где приникая за кустом, где пережидая в воронке шквальной огонь, спасла она во время этого боя шестнадцать бойцов и одного командира.

Бой не был проигран, но все же часть получила приказ отступить.

Отступали недалеко, ночью, а рано утром Зина заметила наш подбитый танк, оставленный между новыми линиями наших и вражеских войск.

Что же делать, - подбили танк, пришлось его бросить, - ну, а вдруг в нем раненые танкисты? Этот вопрос не давал ей покоя. С ним обращалась она и к бойцам, и к младшим командирам, - никто, конечно, не мог ей на него ответить. Только старший лейтенант Назимов, командир роты, присмотревшись к танку в бинокль, ответил определеннее:

- танк не сгорел, а подбит… люди в нем могут быть, - однако едва ли они живы.

- А если пойти посмотреть? – спросила Зина.

- Пойти бы можно, конечно, только едва ли стоит, - сказал Назимов и отошел. Приказа пойти к танку Зина не получила, запрета – тоже. Она решила идти, так как вблизи танка не видела немцев и так как наплывал густыми волнами белый туман.

Идти, впрочем, можно было только вначале, пользуясь мелколесьем, а потом ползти, как пришлось ей это делать во время боя.

Теперь, когда бой утих, задача показалась ей проще. Она подползла к танку, пустив в дело всю свою хитрость.

Только лисица могла бы так подкрадываться к барабанящему лапками утреннюю зорю зайцу, как она подкралась, наконец, к танку, припавшему на правый бок и искалеченному снарядом.

Была какая-то смутная радость удачи, что добралась незаметно для врага, и в то же время ныло сердце: а вдруг командир прав, и в танке или никого уже нет, или только лежат убитые? Тогда напрасно, значит, она и пустилась на такой риск.

Люк был сворочен. Она влезла на танк.

Трое танкистов лежали окровавленные, скорчившись и без движения. Значит, - напрасно ползла.

Все-таки, может быть, кто-нибудь из них жив еще…

И она начала поочередно трясти их за плечи. Не напрасно – один застонал, не открывая глаз.

Двое других были убиты, но третьего, тяжело раненного, Зина вытащила из танка. Он открыл глаза, посмотрел на нее мутно и удивленно, потом застонал от боли.

- Молчи! – приказала ему она.

Туман отползал, наползал, и вместе с ним могли наползти и немцы.

Действительно, ей удалось только дотащить танкиста до кучки почерневшего от дождя сена, как

возле танка, шагах в пятидесяти от сена, выросли трое немцев. Один из них влез на танк, повернув винтовку прикладом вниз, несколько раз подымал и опускал ее яростно: умертвляя мертвых. Слышны были глухие звуки ударов даже и танкисту, - не только Зине. Он сказал с усилием, полушепотом:

- Вот так… и нас с тобой…убьют… Ты застрели меня, а сама беги.

- Ничего, молчи, - прошептала она ему на ухо, - не заметят.

Всем юным существом своим верила в то, что не заметят, ни за что не заметят, уйдут дальше… И то, во что так сильно верилось, случилось: немцы пошли в другую сторону, и тут же нахлынула новая волна белого, как вата, тумана. Тогда она захватила правой рукой правое же плечо танкиста и потащила его к своим. Когда он стонал, она зажимала ему рот и шептала:

- Молчи, сейчас будем дома.

Однако это «дома» было за полтора километра, и несколько часов тащила Зина, как муравей, свою ношу, раненого, сначала под прикрытием тумана, а потом, когда он поднялся, по мелколесью. Здесь она даже рискнула взвалить его на плечи, чтобы было скорее, а когда он застонал при этом сильнее прежнего, сказала забывчиво, совершенно так же, как говорила младшему братишке - в то время, как ей самой было двенадцать лет:

- Молчи, а то шлепки дам.

И она принесла его к удивлению всех, а больше всех – старшего лейтенанта Назимова, уже считавшего ее погибшей.

Уложив спасенного поудобней, она сделала ему, как сумела, первую перевязку, чтобы потом передать его врачу.

- Да вы знаете, Зина, что вы сделали? – с торжественным вопросом обратился к ней Назимов.

- Знаю, - разведку, товарищ старший лейтенант, - догадливо ответила «хитрая девчонка».

Содержание

Введение ……**с. 3**

Гордая фамилия (В. Шишков)……**с. 4**

Домик на холме (В. Каверин)……**с. 13**

Мать (О. Курганов)……**с. 32**

О жизни и смерти (Б. Горбатов)……..**с. 40**

Русское сердце (К. Симонов)…….....**с. 49**

Сталинградская быль (В. Гроссман)……..**с. 58**

Хитрая девчонка (С. Сергеев-Ценский)…….**с. 70**

Для заметок

Из фронтовой жизни

Из фонда редких книг

(брошюры, изданные в 1945 году)

Компьютерный набор и верстка **Е.В. Приснякова,**
зав. сектором краеведения

Компьютерный дизайн **И.А. Рябова,**
художник-дизайнер

309996, г. Валуйки, ул. 9 Января, 3
Тел. 3-33-45